

ІНСТИТУТ
ЮДАЇКИ

2

ערוואַטשַׁ אַפְּלַעַגְּ

◊

ЕГУПЕЦЬ
העפלה
2

*Це число альманаху
присвячується світлій пам'яті
Девіда Рота (1940–1995) —
першого керівника проекту «Україна»,
директора Інституту плюралізму
Американського єврейського
комітету.*

ІУДІЧ
ЕГУПЕЦ
ЕГУПЕЦЬ

ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ
АЛЬМАНАХ
ІНСТИТУТУ ЙОДАЇКИ



КІЇВ 1996

ISBN 5-86828-045-8

РЕДКОЛЕГІЯ:

Г.Аронов (редактор), Р.Заславський,
О.Мудрагель, М.Феллер, Л.Фінберг

РЕДКОЛЕГІЯ ВИСЛОВЛЮЄ ПОДЯКУ
АСОЦІАЦІЇ ЄВРЕЙСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОБЩИН УКРАЇНИ,
АМЕРИКАНСЬКому ЄВРЕЙСЬКому РОЗПОДІЛЬЧому КОМІТЕТУ
«ДЖОЙНТ»
ТА ПАНУ АРТУРУ РУДЗИЦЬКому
ЗА СПРИЯННЯ В РОБОТІ НАД ЦИМ АЛЬМАНАХОМ
ТА ЙОГО ВИДАННІ

Комп'ютерний набір — Оксана Зубарева
Комп'ютерне макетування — Тетяна Іванько
Художник Віктор Харик
Коректор Світлана Гордійок

Видання підготовлено персональною творчою майстернею
«Михайло Щиголь»
Відповідальний за випуск — Ігор Гільбо

© Інститут юдаїки, 1996
© Віктор Харик, художнє оформлення, 1996

Надруковано в Києві

ДОРОГІ НАШІ ЧИТАЧІ!

Вітаємо вас з виходом «Супутня» № 2.
Дякуємо всі негаразди, альманах доводить свою
життєздатність, що дає надію на ренесанс
зутрійі з вами.

Бенцион Томер

Бенцион Томер — широко известный израильский писатель, поэт, драматург, человек сложной и прекрасной судьбы, прошедший все этапы становления и развития государства Израиль: он был его солдатом и дипломатом, защитником и строителем.

Произведения Бенциона Томера переведены во многих странах. В настоящее время возглавляет Израильское отделение международного письменного клуба. В Киев он приехал по приглашению Союза писателей Украины и оргкомитета по проведению юбилея М. Рильского.

Бенцион Томер предоставил альманаху «Егупец» право опубликовать текст его выступления.

Выступление на торжественном заседании в Киеве, посвященном 100-летию со дня рождения Максима Рильского

Вельмишановні панове! Дорогие колеги! Шалом! Мир вам! Вітаю вас!

Благодарю за честь участвовать в юбилее великого поэта и большого человека — Рильского. Я завидую вам, что в эти тяжелые дни вы нашли потребность и силы отпраздновать этот день. Большие государства могут вам только позавидовать.

Я сын древнего народа и громадянин молодого государства. Когда наш храм был разрушен и мой народ пошел в изгнание, не осталось у нас ничего, кроме родного языка — рідної мови. Эта мова была мостом, по которому мы вернулись на свою родину. Ваша украинская прекрасная мова есть настоящим мостом для вашего возврата к себе, к своему духу. На иврите мы говорим: жизнь и смерть в руках мовы. Мова есть и мечта. Поэтому мастера слова — поэты и письменники — вечные Дон-Кихоты. А Дон-Кихот умер, когда перестал мечтать. Я знаю, отношения между поэтами и властью очень не простые, но без поэтов, без их мовы крупнейшие государства теряют смысл своего существования. Народы, которые теряют свою мову, уже обречены. Горе человечеству, если оно перестанет мечтать и, как Платон, начнет изгонять из государства, а значит — из сердца, поэтов.

Дорогие! Дорогі друзі!

Наша современная литература родилась на земле Украины. Пейзажи и жители вашей страны наполняют шкафы книг нашей литературы. К сожалению, вы ее почти не знаете. И, к сожалению, наш ивритский читатель тоже почти не знает вашей богатой литературы.

В истории наших народов есть разные страницы. Время пришло написать новую солнечную главу. Для вашего и нашего будущего. Переводы наших литератур — лучший мост между людьми и народами.

Человек, которого мы сегодня читим, был великим другом нашего народа. В еврейском характере забывать грехи, но никогда не забывать благородные отношения к преследуемым. В честь этого большого поэта и человека я прочитаю восемь его строк:

На білу гречку впали роси,
веселі бджоли одгули,
замовкло поле стоголосе
в обіймах золотої мли.

Дорога в'ється між полями.
Ти не прийдеш, не прилетиш,
і тільки дальніми піснями
в моєму серці продзвениш.

«Я СТОЯЛА В ИЕРУСАЛИМЕ...» (стихи израильских поэтесс)

Печатая антологическую подборку стихов израильских поэтесс, редколлегия альманаха хочет познакомить читателей с мало, к сожалению, известной у нас ивритоязычной поэзией Израиля, созданной замечательными поэтессами этой страны.

Предлагая стихи Рахели, Ханы Сенеш, Эстер Раб, Зельды, Леа Гольдберг, Ривки Мирьям и Анды Амир-Пинкерфельд в переводах

Л.Друскина, Р.Левинзон и Р.Гурфинкель, мы надеемся, что русскоязычный читатель почувствует трагическую напряженность этой поэзии и примет ее.

Пользуемся случаем, чтобы поблагодарить Виктора Радуцкого (Израиль), не только передавшего альманаху стихи национальной поэтессы Рахели, но и предоставившего в наше распоряжение очерк о ее жизни и творчестве, который предполагается использовать в следующем номере «Егупца».

Рахель



О, как мой дух ослаб, скорей мне руку дай!
Молю, не покидай, молю, не покидай!
Стань мостиком моим через пучину дня,
Опорой будь в тоске, не оставляй меня!
Стань деревом моим, стань кроной надо мной,
Пусть тень твоих ветвей утихомирит зной.
А если ночь, согрей хоть капелькой огня...
Ты мой наущенный хлеб, не покидай меня!



Неужели конец? Даль еще так светла,
Еще зеленью рдеют поляны.
Даже осень на землю еще не пришла,
Не густеют туманы.
Нет, не ропщет душа — я приму приговор.
Были алы закаты и зори,
И цветы улыбаются мне до сих пор,
Но вздыхают от горя.



Лишь о себе рассказать я хотела,
Узок мой мир, словно мир муравья.
Ноет под тяжестью бедное тело,
Груз непомерный сгибает меня.
Тропку к вершине сквозь холод тумана,
Страх побеждая, в муках торю,
Но неустанно рука великана
Все разрушает, что я сотворю.
Мне остаются слезы печали,
Горькие ночи, горькие дни...
Что ж вы позвали, волшебные дали?
Что ж обманули, ночные огни?



Внезапное свиданье, трепет рук,
Бессвязные и сбивчивые речи...
И вал любви ко мне взметнулся вдруг
И катится, врача и калечка.
Он все сметает — пусты, я не боюсь!
Заслон из строчек я образовала.
И к стиховому озеру припала,
И буду пить, покуда не напьюсь.



Снова весны благодатная сила
Сердце мое для надежд пробудила.
Праздник цветения, радость без меры...
Только забор, равнодушный и серый,
В землю уставился — тупо, покорно...
Блещут цветы красотою узорной.
Пышная ветка к ним хочет склониться.
Я, и деревья, и звери, и птицы, —
Все до поры дотянули блаженной...
Будь же, земля моя, благословенна!

Переводы Л.Друскина

Хана Сенеш



При кострах, при огне, при пожаре войны,
в дни кровавые нашего века,
я фонарик возьму у кого-то взаймы,
чтоб найти, чтоб найти человека.
Тонет в пламени свет моего фонаря,
и глаза мои слепнут в огне,
как пойму и узнаю, отличу его я,
если все же он встретится мне?
Дай мне, Господи, знак, положи ту печать,
по которой в наш огненный век
свет лица дорогого смогу я узнать
и сказать: — Это он — человек.

Перевод Р.Левинзон

Эстер Раб



Сердце мое в твоих росах, Родина.
Ночью в колючих полях,
в кипарисовых ароматах, во влажных кустарниках
расправляю я спрятанное крыло.
Дороги твои — песчаные колыбели —
расстилаются чистым шелком меж ограждениями из мимоз.
Всегда мне идти по ним,
словно заколдованной еще неизвестным чудом.
И волнуются прозрачные небеса
над темнотой замерзшего моря деревьев.

1923 г.

ОТЦУ

Благословение рукам,
сующим
в зимнее утро
под шорох стремительных скворцов
на полях красноземных.
Благословение рукам,
сажающим виноградные лозы
и эвкалипты, словно благоухающие знамена,

над водами Яркона.
Благословение рукам,
взнуздывающим коня
и прижимающим к щеке
приклад ружья,
чтобы отогнать врага
от бедной хижины нашей,
мирной хижины,
царствующей над полями и колючими зарослями.
И вот она —
крепкая зелень над птенцами,
вот они — дунамы мягкой вики,
и быки отдыхают в болотной жиже...
Пахарь вопреки пустыне,
взломавший девственность
Земли...
Благословение рукам!

1929 г.

Переводы Р.Левинзон

Леа Гольдберг

ХАМСИН МЕСЯЦА НИСАН

Да что уж там — обычный день с утра,
такой же день, каким он был вчера,
ничем от дней других неотличим,
как зло неотличимо от добра.

Но только солнце пахнет, как жасмин,
и только в камне слышен сердца стук,
и вечер ярок, словно апельсин,
и у песка влюбленные уста.

Как мне запомнить этот день из дней,
как сохранить всей памятью своей
все запахи его, все чудеса,
все то, что суть от сущности моей.

И каждый тополь — парус на ветру,
у тишины — девчоночки глаза,
у слез моих — цветенья аромат,
и город назван именем любви.

Перевод Р.Левинзон

Зельда

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ИМЯ

У каждого человека есть имя,
данное ему Богом,
данное ему матерью и отцом.

У каждого человека есть имя,
данное ему статью и улыбкой,
и одеждой его.

У каждого человека есть имя,
данное ему горами
и стенами дома его.

У каждого человека есть имя,
данное ему знаками Зодиака
и соседями его.

У каждого человека есть имя,
данное ему грехами его
и тоской его.

У каждого человека есть имя,
данное ему врагами его
и любовью его.

У каждого человека есть имя,
данное ему праздниками его
и трудами его.

У каждого человека есть имя,
данное ему временами года
и слепотой его.

У каждого человека есть имя,
данное ему морем
и данное ему смертью его.

Перевод Р.Левинсон

КАЖДАЯ ЛИЛИЯ

Каждая лилия — остров
Мира обещанного,
Мира вечного.

В каждой лилии живет
Птица сапфировая,
имя которой «ве-хитету»*.

* Первые слова известного изречения пророка Исаии (2, 4) «...И перекуют мечи на орала...».

И кажется,
Так близок
Ее аромат,
Так близок
Листвьев покой,
Так близок Тот остров —
Лишь лодку возьми
И пересеки море огня.

Я СТОЯЛА В ИЕРУСАЛИМЕ

Я стояла
в Иерусалиме,
Висящем на облаке,
На кладбище
С плачущими людьми,
Кривым деревом.
Очертания гор неясные
И башня.
Вас ведь нет! —
Говорила нам смерть.
Тебя ведь нет! —
Она обращалась ко мне.

Я стояла
в Иерусалиме,
Расчерченном солнцем.
С улыбкой невесты,
В поле
У тонкой зеленои травы.

Почему ты боялась меня вчера под дождем? —
Говорила мне смерть.
Разве я не сестра тебе,
Тихая, старшая...

Переводы Р.Гурфинкель

Ривка Мирьям

НАРОД МОЙ

Народ мой в земле не нашла.
 Перебирала комъя земли,
 Когда опускаются потоки дождя.
 Народ мой в земле не нашла.
 Только зло смотрела она на меня,
 Переворачиваясь на живот.
 Народ мой искала в туманном лице
 Господа моего, Старика, Великана.
 И повернулся Он бестелесно ко мне
 Своим тяжелым, синим туманом,
 И синь была пуста, печальна и глубока.
 И не было в нем моего народа.
 Искала мой народ на небе,
 В облаках его пустопорожних.
 И там я его не нашла.
 В ничто он ушел, в ничто,
 Народ мой.
 Но вдруг услышала я в тишине глубокой —
 Дрожат струны в глуби меня самой,
 И рассекла я глубь.
 Всю себя рассеяла по ветру.
 И больше меня не осталось.
 Трепеща, я закрыла глаза и увидела —
 Из меня народ мой выходит.

Перевод Р.Левинзон

Анда Амир-Пинкерфельд

**КОЛЫБЕЛЬНАЯ
МАМЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ**

Когда-то я засыпала у тебя на руках,
 мама,
 теперь усни ты у меня на руках,
 мама.
 Какая ты маленькая,
 как мягкое тельце птицы,
 белая голубка моя.
 Дочь твоя — большая и сильная,

укачает тебя.
Спи, мама, спи.
Спокойствие мира —
из синевы моря —
в сказках наших золотистых,
в утренних ветерках лучистых.
Сошью тебе саван,
найду тихое место, серое,
постелью слезы любви,
чтобы спать было мягче,
в земле доброй,
СПИ, мама.

Перевод Р.Левинзон

Гелий Аронов

*Предлагаем вниманию читателей новую повесть
Гелия Аронова, посвященную совсем недавнему
прошлому, столь еще памятному и узнаваемому.*

Инне Брикман

СЧАСТЛИВЧИК

Если уж человеку везет, так везет всегда, буквально с момента появления на свет. Примеры? Пожалуйста.

Вот он только что родился. Полный несмышленыш. Еще имени не имеет, а фамилия уже есть: Лайнер. Что — не удача? Такая фамилия — это же просто подарок. Во-первых, никто никогда не даст тебе прозвища: оно раз и навсегда есть. Во-вторых, все океанские и воздушные лайнеры автоматически становятся твоими братьями, а в-третьих, ты никогда не потеряешься среди Ивановых, Кузнецовых и Рабиновичей.

А если к такой прекрасной фамилии умные родители дают тебе еще и ласковое имя Марик, так что может быть лучше? Вы только послушайте, как звучит: Марик Лайнер. Прямо музыка!

Кстати, о музыке. С ней юному счастливцу тоже очень повезло. Причем на всю жизнь. Потому что если у человека хорошо нет слуха, то это на всю жизнь, сколько бы ни уверяли, что его можно развить, и сколько бы мама ни вспоминала о дедушке со своей стороны, который был очень известным и даже незаменимым (потому что единственным) скрипачом в Сквире.

Но дедушка был, а Марик — нет. С этим вынуждена смириться даже мама, а, значит, вопрос о музыкальном образовании отпадает. И разве это не счастье?

Точно так же юному Лайнеру повезло с математическими способностями и шахматным даром. Конечно, родителям хотелось, и опять имелся родственник, на этот раз с папиной стороны. Но Марик развеял все родительские надежды. И сделал это как настоящий везунчик — быстро, безболезненно и бесповоротно. Как напоминание о его победе осталась хроническая тройка по математике, кстати, далеко не единственная в табеле.

Как вы понимаете, ребенок с такими талантами обретает самое главное — легкую голову, хороший аппетит и безоблачное детство. Настолько безоблачное, что в более зрелые годы из всех тогдашних огорчений он сможет вспомнить лишь одно: как бабушка в порыве нежности называла его «Маруся», что не очень нравилось юному собрату океанских дизельэлектроходов.

Но чем беззаботнее и легче относятся к жизни дети, тем глубже задумываются родители. Если это настоящие родители, конечно. А у

Марика они были именно такими. «Что будет с мальчиком?» — постоянно звучало на семейных обсуждениях. И надо сказать честно: никто, даже известный в семейном кругу эрудит дядя Боря не брал на себя смелость делать прогнозы. Только бабушка со стороны папы, Софья Исааковна, всегда повторяла одну довольно загадочную фразу: «Ничего, как-то будет. Лишь бы был здоров».

И ребенок таки да был здоров. Не в том смысле, что не болен. Это уж само собой. А в том смысле, что был весел, активен, подвижен и настырен, как молодой бычок. Когда папа, еще лелея шахматные мечты, пытался приобщить сына к жизни в клеточку и засадить за стол, Марик садился. Но, сделав первый попавшийся ход, срывался с места, мчался на диван, делал с разгона несколько кувырков, подбрасывал подушку, принимал ее на голову, после настойчивых призывов папы возвращался к столу, двигал не глядя какую-нибудь фигуру и опять начинал свои акробатические этюды.

А уж если он вырывался на улицу, то вернуть его к интеллектуальным занятиям было почти невозможно. Да и у кого бы поднялась рука сделать это, видя, как самозабвенно и страстно он гоняет мяч или носится на велосипеде.

— Похоже, он станет гайдамакой, — не удержался однажды мудрый дядя Боря, и это было крайней степенью неодобрения, ибо для дяди Бори «гайдамака» означало и легкомысленного человека без определенных занятий, и недоучку, и, наконец, футболиста.

К сожалению, мудрый дядя почти не ошибся, во всяком случае в отношении последнего: именно футбол стал самой всепоглощающей страстью Марика. Причем, страсть обнаружилась чрезвычайно рано, буквально с младенческих ногтей.

Например, совсем сосунком, еще в коляске этот ребенок стремился все, что ему не нравилось, вызывало активный протест, не оттолкнуть или отшвырнуть рукой, а непременно наподдать ногой. А когда он впервые ощущил легкую упругость мяча и тут же сообразил, что этот предмет создан для ударов ногами, все было решено.

Сколько времени может провести обычный ребенок, без перерыва гоняя мяч? «Два часа, — скажете вы. — Ну пусть три». — «А двенадцать не хотите?» — отвечу я вам. И это несмотря на нестойкость партнеров, не выдерживающих настоящей игры, и коварство мамы и бабушки, появляющихся на площадке с ультиматумом: «Или ты покушаешь, или никогда больше не увидишь мяча!» Конечно, они и сами не верят этим угрозам, но ведь отвлекают!

Еще хорошо, что Марик Лайнер — натура абсолютно цельная, без всяких там комплексов. Ему даже в голову не приходит стесняться бабушки Сони, выскакивающей на футбольную площадку в капоте и переднике с деревянной поварешкой в руках.

Да и кто решится дразнить его? Или кто-нибудь во дворе и его окрестностях может, как Марик, пройти все поле, ведя мяч головой? Или жонглировать им сколько угодно? Или ударить точно по воротам с самого угла площадки?

Даже отставной подполковник Шитов, более известный во дворе по кличке «Авто-мото», ругая всех пацанов шпаной и байстроками, для Марика делал оговорку: «Этот хоть играть умеет». А ведь именно Марик больше всех лупит мячом в стенку его гаража, так что только кирпичная пыль летит. К старшим Лайнерам Авто-мото ходил, но чтобы дразнить Марика, это нет.

Лишь однажды высокий и массивный художник из расположенной в подвале мастерской, любивший иногда погонять с пацанами мяч, когда Марик в очередной раз легко обмотал его, сказал, вытирая рукавом мокрый лоб: «Видал, какой Давид нашелся!», на что Марик простодушно ответил: «Это мой дедушка Давид, а я Марик». — «А мой дедушка Голиаф» — загадочно сказал художник и спустился в свой подвал.

Во дворе ни о каком Голиафе никто никогда не слышал, поэтому все решили, что художник просто дразнился. Кто-то даже предложил в игру его больше никогда не принимать, но Марик только рукой махнул: что, мол, с него, неумехи, возьмешь?

Юный Лайнер вообще не имел склонности зависать на неинтересной для него информации, особенно мешающей гонять мяч. Она его настолько не интересовала, что он просто не слышал ее, не брал в голову.

- Чтоб мама завтра же пришла в школу!
- Да.
- Что — да?
- Хорошо.
- Что — хорошо?
- То, что вы сказали.
- А что я сказала?

Это типичный разговор учительницы Светланы Сергеевны с Мариком: она говорит, а он не дает себе труда даже сообразить, о чем она говорит. Он в это время слышит совсем другое — звонкий удар по мячу и шелестящий звук его приближения. Ноги Марика уже спружинили, голова отведена чуть назад и, когда учительнице кажется, что он кивает в ответ на ее вопрос, он распрямляется и, почти падая вперед, наносит удар головой. Мяч изменяет направление и влетает в правую «девятку», сопровождаемый недоуменным взглядом вратаря, не успевшего даже приготовиться к прыжку.

При такой почти абсолютной поглощенности мячом Марик, как истинный счастливец, не делит ее буквально ни с чем, даже с чрезмерным интересом к истории и людям самого футбола. Да, Пеле, Марадонну и Блохина он знал, но совсем не испытывал сладкого и обессиливающего восторга перед их именами. Когда, сидя в темноте зрительного зала,

Марик с папой смотрели фильм о Пеле, и великий виртуоз все был и был без промаха по воротам, а папа толкал сына в бок, приглашая восхититься и возликовать, Марик испытывал совсем другие чувства: ему казалось, что это он сам то с лета, то в падении, то через себя вколачивает мяч в сетку. Поэтому, выходя из кинотеатра, он сказал довольно спокойно: «Я тоже так смогу».

Эта фраза чуть было не поколебала единство семьи. Дядя Боря счел ее нахальством самой чистой воды, на злоказственные признаки какового он, кстати, указывал уже давно в связи с отношением племянника к себе и к своей эрудиции. Папа ему энергично возражал, хоть в глубине души тоже испытывал обеспокоенность безмятежной самоуверенностью Марика, ибо такая самоуверенность уже довела одного родственника сначала до того, что он наплевал на свои математические способности и бросил институт, а потом оказался в Чикаго агентом по продаже электронной техники и индивидуальных компьютеров, что Лев Давидович Лайнер считал большой жизненной неудачей.

Никто из них не мог догадаться, что в словах Марика не было и тени хвастовства и нахальства, то есть нахальство было, но именно то, которое делает игрока напористым и уверенным в себе и без которого спорт вообще невозможен. Как им было объяснить, что он чувствовал, куда полетит мяч, отскочивший от штанги, и уже знал: достать его можно только головой в падении и поэтому, как и Пеле, мысленно прыгал на пустое еще место и в назначеннное свыше мгновение встречался с мячом. Бедный дядя Боря! Никакая эрудиция не могла помочь ему поверить в то необъяснимое шестое чувство, которое для настоящего игрока является безусловно первым.

Но если кто-то думает, что наличие этого самого чувства, готовность круглосуточно гонять мяч, а также прекрасная фамилия автоматически гарантировали Марiku безоблачное спортивное будущее, тот, конечно же, ошибается. Во-первых, предстояло еще окончательно сломить сопротивление семьи, заставить ее смириться с отсутствиями очень желательных и присутствиями очень нежелательных склонностей у Марика.

Дольше всех сопротивлялся презирающий футбол дядя Боря и подогреваемая его научной аргументацией мама. К счастью, подоспела гласность, с помощью журналов «Огонек» и «Наука и жизнь» окончательно сокрушившая академика Лысенко, утверждавшего, что вербу можно превратить в грушу, а овес в пшеницу, из чего следовало, что любого человека можно развить в гениального шахматиста или математика, разив или создав у него желательные качества. Как оказалось, Лысенко был неоламаркистом, что в переводе на обычный язык значит — мерзавец. Дядя Боря вынужден был признать это, а следовательно, согласиться с неизбежным выводом: Марика нужно оставить в покое.

Это, конечно, не означало, что ребенка бросали на произвол судьбы. Настоящая семья, а Лайнеры были настоящей семьей, не могла отстра-

ниться от устройства его будущего. Что ж, пусть оно будет спортивным. Там тоже бывают интеллигентные люди, тренер сборной страны по баскетболу Гомельский, например. Между прочим, объехал весь мир и обеспечен наверняка не хуже какого-нибудь кандидата наук.

Папа Лайнер очень своевременно вспомнил, что в армии был чемпионом части по многоборью ГТО, а гранату бросал дальше всех в гарнизоне. На это мама, почувствовав стремление мужа приписать своему роду спортивные задатки Марика, напомнила брату Боре, что у него тоже был разряд по плаванию, а заодно вспомнила и о семикратном олимпийском чемпионе по плаванию Марке Спите, о котором говорила так, как будто и он был ее близким родственником.

Короче, семья решила не откладывая заняться спортивным будущим Лайнера-младшего и прежде всего выбрать среду обитания, то есть спортивное общество. В городе их было четыре, но «Грудовые резервы» предполагали обязательную учебу в ПТУ, «Локомотив», хоть и имел команду мастеров, не имел юношеской спортивной школы, а в СКА не было своей базы. Оставался клуб «Машиностроитель», вернее команда «Турбогенератор», имеющие и свой стадион, и свою футбольную школу.

Руководил ею бывший нападающий «Локомотива» Николай Шкарлат, более известный под кличкой «Шарлатан», ибо никто не умел так изобразить в нужный момент и в нужном месте тяжелую травму. Сердце самого сурового судьи обливалось кровью, когда он видел, как адские боли гнут и ломают тело поверженного Шкарлаты. На поле появлялся врач и сопровождающие его лица, они под крики трибун уносили пострадавшего на носилках.

Не было случая, чтобы Шарлатану делали предупреждение, хоть часто именно он его и заслуживал. Зато ему случалось зарабатывать таким образом одиннадцатиметровые, которые он же, страдая и мучаясь, очень точно и реализовывал.

Имелся у Шарлатана и еще один недостаток, на эзоповском языке спортивных журналистов называвшийся «нарушениями спортивного режима». Нет, нет, алкоголиком он не стал, здоровья еще хватало, но до общества трезвенников дело тоже еще не дошло, и друзей вокруг него крутилось много.

А у друзей, их родственников и знакомых были дети. Талантливые, конечно. По глубокому убеждению родителей, в недалеком будущем их ждали команды мастеров, а, может быть, и зарубежные клубы, ибо в последнее время хозрасчет зашел так далеко, что запахло и вольными хлебами на невозделанных нивах дикого Запада. Среди посвященных уже серьезно обсуждался вопрос, где больше платят «звездам» — в Италии или Португалии, и каждый родитель видел своего недоросля «звездой», заключающей с менеджерами миллионные контракты.

Поэтому отбор в спортивную школу Шарлатана производился по кулуарному методу, который легко обеспечивал место среди будущих «звезд»

мальчишкам, не только неумелым, но и не очень мечтающим стать таковыми. Хватало среди них и неповоротливых толстяков, робких астеников и некоординированных «фитилей». Шумной толпой гонялись они за мячом, толкались и падали, а Шарлатан равнодушно смотрел на них и неизменная сигарета была приkleена к его презрительно оттопыренной нижней губе.

Его не волновало их будущее, но он не мог не понимать, что с этим материалом команды не создашь и не выиграешь даже у совершенно «диких» дворовых или школьных футболистов. Пока еще начальство помнило его действующим спортсменом, можно было покантоваться, но время летит быстро, и не обернется ли вскоре его футбольная кличка ярлыком, оценивающим его тренерскую работу?

Короче говоря, в одно прекрасное утро, которое, конечно же, было мудренее довольно безобразного вечера накануне, Николай Шкарлата решил начать новую жизнь. «Хватит блатных! — сказал он себе. — Надо проводить настоящий отбор. С тестами, как полагается. В конце концов, за меня мама просить не ходила, сам всегда добился. Вот пусть и они...»

Как вы понимаете, именно в это время Марик и его родители созрели для поступления в футбольную школу. Смирился даже дядя Боря, хоть он сражался, как гладиатор, особенно когда узнал, что ему-то и предстоит быть главным действующим лицом в этой истории. Дело в том, что именно он работал на заводе «Турбогенератор», являвшемся содржателем клуба «Машиностроитель» (спортивные журналисты употребили бы вместо грубого «содержатель» изящное и современное слово «спонсор»), и ему предстояло через председателя профкома, страстного болельщика, обратиться к Шкарлату. Преодолевая отвращение к футболу, но подчиняясь внутрисемейной дисциплине, Борис Зайдман заручился письмом от профсоюзного босса и отправился на стадион. Разговор его с директором футбольной школы выглядел так:

Дядя Боря. Я к вам от Ивана Степановича. Насчет приема. Вот письмо.

Шарлатан (разворачивая письмо). Контора пишет.

Дядя Боря. Замечательный мальчик.

Шарлатан. Толстый?

Дядя Боря. Худой.

Шарлатан (читая). Худой Лайннер? Не бывает!

Дядя Боря. Я вам клянусь!

Шарлатан. Вы Лайннер?

Дядя Боря. Я Зайдман.

Шарлатан. Отец?

Дядя Боря. Дядя.

Шарлатан. Здравствуйте, я ваша тетя! А где родители?

Дядя Боря. Дома.

Шарлатан. Так им с доставкой на дом?

Дядя Боря. Почему? Они будут ходить на занятия.

Шарлатан. Спасибо за доверие, но в школу еще нужно поступить. У нас экзамены.

Дядя Боря. Но Иван Степанович говорил...

Шарлатан. А играть кто будет? Пушкин? Кого я на первенство города выставлю?

Дядя Боря. Но я вам ручаюсь...

Шарлатан. В воскресенье, в десять утра. В кроссовках. С родителями.

С этим Шарлатан повернулся спиной и, не прощаясь, удалился, оставив дядю Борю в более чем неудовлетворительном состоянии. Во-первых, он так и не понял, какую же роль сыграло письмо; во-вторых, не мог не почувствовать довольно-таки небрежного отношения лично к себе, а в третьих, ему не удалось блеснуть эрудицией. Утешался он только тем, что от такого гайдамаки ничего другого и ждать было невозможно.

За оставшиеся до воскресенья два дня в доме Лайнера было проведено пять семейных совещаний, не считая летучих обсуждений, возникавших на каждом шагу. Полемика была острой — от категорического «С этим бандитом нельзя иметь дело» (дядя Боря и отчасти бабушка Соня) до «Нужно ему доказать!» (папа, дедушка Додя, отчасти мама). Бабушка Фира занимала явно троцкистскую позицию, которую классик оппортунизма сформулировал очень четко: «Ни мира, ни войны». Она считала, вступать в эту школу, где кому-то не нравится фамилия Лайнер, не нужно, но и демонстративно не вступать после того, как этот бандит получил именное письмо от профсоюзника, тоже нельзя. Поэтому бабушка Фира предлагала достать справку, что Марик болен, и дело с концом.

— Боже упаси писать на здорового болезнь! Пусть лучше болячка этому директору, — протестовала бабушка Соня.

— Пусть ему две болячки, но почему ребенок должен страдать? — риторически вопрошала бабушка Фира, и дискуссия разгоралась с новой силой. В ней не принимал участия только один член семьи — сам Марик. Он самозабвенно гонял мяч на площадке и абсолютно не интересовался, сколько болячек грозит несчастному Шарлатану.

Кстати, дядя Боря зря волновал семью. Он просто неверно истолковал смысл разговора с директором, ибо Шарлатан не имел ничего против Гершковича и Паиса: он был их по ногам точно так же, как и Сидорова или Блохина. Марик внушал ему подозрения не потому, что был Лайнером, а как еще один отпрыск честолюбивых и щедрых на угощение, но не имеющих отношения к спорту родителей.

Конечно, его реплика: «Не бывает худых Лайнера» внушала подозрения, но разве Шарлатан был виноват, что блатные дети, как правило, отличались хорошей упитанностью? Не только лайнеры, кстати.

В результате двухдневных внутрисемейных дискуссий было принято решение: на экзамен явиться, но свои ряды усилить Леонидом Семено-

вичем Колбасинским. «Тоже хороший гайдамака», — сказал о нем дядя Боря, но деваться было некуда, ибо этот дальний родственник работал в городском спорткомитете и являлся к тому же судьей по футболу. Усиленная им семейная команда выглядела так: папа, мама, дядя Боря, Колбасинский и... бабушка Соня. Ее пришлось включить, несмотря на бурные протесты семьи, на все возражения которой она отвечала только одно: «Для вас важно, чтобы он поступил, а для меня — чтобы никто его не обидел».

На стадион «Машиностроитель» Лайнеры пришли в половине десятого, но оказались отнюдь не первыми: у левой трибуны толпились многочисленные родители, опекавшие юных кандидатов в звезды. Большинство детей было экипировано по последнему слову спортивной моды — в пумово-адидасной обуви, в куртках с названиями знаменитых клубов. Среди них Марик в своей футболочке с надписью на груди «Пусть всегда будет солнце» выглядел довольно бледно. Хорошо еще, что мама взяла с собой новые кроссовки, не «Адидас», конечно, но тоже ничего себе. Под дружным напором семьи Марик надел их и ходил по беговой дорожке, пытаясь почувствовать привычную легкость и свободу.

— Побей по мячу, — сказал папа и бросил сыну принесенный с собой тяжелый пластмассовый мяч, раскрашенный под настоящий. Во дворе всегда играли именно таким.

Но Марик бить не стал.

— Давят, — сказал он и показал на свои новенькие кроссовки.

— Что давят? Что давят? — заволновался дядя Боря.

— Ноги давят, — удивился непонятливиности дяди Марик.

— Они разносятся, — успокоила мама.

— Ради этого паршивого экзамена ребенок должен мучиться? — включилась бабушка, подливая масла в огонь и провоцируя очередной приступ семейной дискуссии.

Но в это время из-под трибуны стадиона появился Шарлатан в сопровождении двух тренеров школы — Владимира Дошлого и Сергея Барыгина. За ними следовал врач стадиона, для солидности в белом халате и шапочке, и заместитель директора по общим вопросам, предпочитавший, чтобы его называли тренером-психологом, — Дмитрий Степанович Гуля.

К ним тут же присоединился и мобилизованный Лайнерами Колбасинский, выражавший, правда, только намерение поздороваться, но дружно удержаный всей экзаменационной бригадой. «Для объективности», — улыбнулся Шарлатан, догадываясь, что Леонид Семенович пожаловал сюда не из абстрактной любознательности.

Марик оказался в экзаменационном списке только семнадцатым, но его очередь подошла неожиданно быстро: из всех конкурировавших до него мальчиков всю программу смогли выполнить только пятеро, хоть была она не так уж сложна: пробежать 60 метров на скорость, проле-

монстрировать умение вести мяч, минуя препятствия, сделать несколько подач в указанную точку и пробить по специально размеченному щиту ногой и головой.

Но, во-первых, два очень толстых мальчика не были допущены даже к испытаниям. «Жрать нужно меньше!» — со свойственной ему обходительностью заметил тренер-психолог Гуля, и оскорбленные родители покинули стадион, обещая писать и жаловаться.

Три абитуриента продемонстрировали полное неумение бегать. Они передвигались, необъяснимо путаясь в собственных ногах, и страшно медленно.

Следующая тройка срезалась на «футбольном слаломе»: каждый из них свалил больше половины расставленных на поле стоек и много раз терял мяч.

Остальные, хоть и преодолели как в замедленной киносъемке слаломную трассу, не смогли попасть мячом не только по намалеванному на щите кругу, но и вообще по щиту.

Марик наблюдал за ними с недоумением: «Как это им удается промазать с такого расстояния? Наверно, специально притворяются». Он даже поделился этими соображениями с бабушкой, но Софья Исааковна прореагировала совершенно иначе: «Бедные дети! Почему они должны терпеть такие издевательства? Я бы тоже не попала по этим доскам». — «Попала бы, бабушка! Обязательно попала бы!» — заверил ее Марик, на что откликнулся уже папа: «Ты лучше думай, как самому попасть». Ему казалось, что сын опять переполнен самоуверенностью, и это может погубить его.

Испытания начались для Марика ужасно: сразу же после старта бега на 60 метров он упал. «Ой!» — крикнула бабушка и закрыла рукой глаза. «Марик!» — крикнула мама. «Я же говорил!» — воскликнул дядя Боря.

Один только папа ничего не сказал — он бросился на старт. С другой стороны туда же бежал родственник Леонид Семенович. В этой ситуации его присутствие оказалось спасительным: без него Марика просто не допустили бы к дальнейшим испытаниям. А так он снял новые кроссовки (в них-то и была причина падения) и как ни в чем не бывало вышел на старт следующего забега, каковой и пробежал не с лучшим временем дня, но вполне пристойно.

Вы спросите, почему же такой замечательный Марик не показал самое лучшее время, не опередил всех, не установил мировой рекорд? «Именно потому, что он такой замечательный!» — отвечу я вам. И не пожимайте пожалуйста плечами, не разводите в недоумении руками и не крутите пальцем возле виска. Да, да, именно поэтому. Вы вынуждены будете согласиться со мной, если поверите, что есть люди, охотней выполняющие сложную задачу, чем простую. Им легче взойти на неприступную горную вершину, чем подняться по лестнице на десятый этаж вполне благоустроенной.

роенного дома. Им проще переплыть Ла-Манш, чем купаться в теплом бульоне ялтинского пляжа. Им приятней построить собственными руками автомобиль, чем выиграть его в лотерею.

Марик принадлежал именно к таким типам. Ему было естественнее и проще бежать, жонглируя мячом, чем просто мчаться по дорожке. И он блестяще доказал это на дистанции «футбольного слалома». Во-первых, он прошел его быстрее всех, а во-вторых, быстрее самого себя на таком же примерно «гладком» отрезке.

— Это ваш? — с уважением спросил Шарлатан у дальнего родственника Лайнеров, и тот гордо вскинул голову, как будто именно он научил Марика так безошибочно выбирать кратчайший путь между стойками, так точно пробрасывать мяч себе «на ход» и подхватывать его опять за препятствием. А тренер-психолог Гуля тонко отметил: «Молоток!»

Но в истинном блеске молоточных качеств Лайнера-младшего проявились при распасовке и выполнении ударов по щиту. Пасы принимал лично Шарлатан, и оценка их зависела от их точности: чем больше Шарлатану приходилось сдвигаться с места для приема мяча, тем ниже был балл, и ни один из претендентов, экзаменовавшихся до Марика, пятерки не получил. Пожалуй, лучшим оказался светловолосый и ладный Сережа Ткачук. Его передачи был почти точны — Шарлатану оставалось сделать только полу шаг, выпад, чтобы достать мяч. Сергей получил четверку, похвалу тренера Владимира Дошлого и с высоко поднятой головой сошел с поля.

Но первый же пас, поданный Мариком, заставил начисто забыть о его предшественниках — мяч ткнулся прямо в ноги директора школы. Второй и третий удар доказали, что первый не был случайностью, а потом последовало две передачи по воздуху и обе кончились на голове Шарлатана.

Но если вы думаете, что испытание на этом закончилось, вы очень ошибаетесь: экзаменаторы вошли в раж, они заставили Марика увеличить дистанцию, подавать с разных точек поля, пасовать с хода, били ему сами, коварно закручивая мяч... Семья Лайнеров заволновалась, ибо сбывались их худшие подозрения: Марика явно «резали».

— Гайдамака, хулиган! — клокотал дядя Боря и рвался выяснять отношения. Его удерживали только успокоительные жесты родственника Колбасинского, поднимавшего все время над головой руку с оттопыренным большим пальцем.

То же самое повторилось и во время ударов по щиту. Если каждый испытуемый трижды бил с восьмиметровой дистанции, то Марик произвел в пять раз больше ударов и с самых разных точек. Специально для него было придумано два дополнительных испытания — попадать в щит, неприкосновенность которого стал защищать длиннорукий тренер Барыгин, и бить по навешенному Шарлатаном мячу.

Из пяти ударов Барыгин отбил два, оба раза резко выдвигаясь впереди, навстречу Марику. Но, когда он попытался в третий раз повторить маневр, юный Лайнер просто перекинул через него мяч.

— Вот тебе! — закричала бабушка Соня и сделала зонтиком такое движение, как будто бы она пронзает кого-то, а Шарлатан и Дошлый обменялись многозначительными взглядами.

Испытание было закончено придирчивым осмотром родственников. Директор школы комментировал свои умозаключения, как барышник на конском базаре. «Ноги коротковаты», — сказал он, глянув на семейство Лайнеров-Зайдманов. Смущенные и виноватые в недостаточной длине своих нижних конечностей родственники потупили очи, лишь Колбасинский заметил: «Устойчивее будет», с чем Шарлатан неожиданно согласился и объявил, что Марик Лайнер в футбольную школу принят.

— Что я вам говорил? Письмо сыграло свою роль, — громким шепотом прошипел дядя Боря.

— При чем здесь какое-то письмо? Он же был лучше всех! — возмутился папа.

— А что, самых лучших не режут? Еще как! — бросилась защищать брата мама.

— Лишь бы Маруся был здоров, — не очень впопад сказала бабушка Соня.

А в это время Дошлый и Барыгин перебирали знаменитостей, проходивших по лайнеровской графе. Список получался не слишком большим: вместе с игравшими еще в далекие сороковые годы Лившицем и Лерманом выходило всего семь человек. «Вот и готовьте национальные кадры», — подмигнул прислушивавшийся к их разговору тренер-психолог Гуля. «А чего? Парень, вроде, ничего», — скаламбурил Дошлый и сам засмеялся своей шутке. Настроение у тренеров оставалось вполне благожелательным.

* * *

— А если придется ехать в Бразилию? — спросил дядя Боря, когда семейный совет, посвященный поступлению Марика в футбольную школу, подошел к самому актуальному вопросу.

— Бразилия — это не Аргентина, — совершенно справедливо заметил дедушка Додя, говоривший редко, но значительно.

— Так его и взяли в сборную! — усомнилась мама, ощущая готовность удовлетвориться первым успехом.

Надо ли говорить, что семейный совет так и не решил, что же делать, если придется ехать в Южную Америку, хоть и потратил на обсуждение много страстей и темперамента. На саркастические замечания дяди Бори следовали убийственные реплики папы, дедушка Додя многозначительно молчал, а мама то бросалась защищать брата, то поддерживала мужа, считавшего, что Марик уже все доказал, а если в дальнейшем что-то получится не так, вины Лайнеров в этом быть не может.

В дискуссии не принимала участия только бабушка Соня. Про себя она твердо решила, что если уж Марику придется ехать в эти известные своим плохим климатом страны, она просто поедет вместе с ним. Представить Марику взрослым она все равно не могла.

Кстати, все участники дискуссии за обеденным столом прекрасно справились с куриным бульоном, тушеной курицей с острой подливой, картофельным пюре, а также специально испеченным по этому случаю медовиком, причем дядя Боря без всяких сарказмов съел три больших куска, молчаливо признавая достоинства этого произведения Софьи Исааковны.

Обычно семейные обеды оканчивались разговорами о политике или взволнованным обсуждением очередного разоблачения в журнале «Огонек». Но на этот раз до них дело не дошло — футбольная тема не отпускала. От Марики и его блестящего будущего перешли к скандальному судейству в нашем футболе.

— Эти гайдамаки берут по пятьсот рублей за матч, — обнаружил свою информированность и в этой области дядя Боря.

— Тысячу, — веско сказал дедушка Додя.

— Если бы им платили эти деньги официально, они бы не шли на взятку.

— Еще как бы шли! Только давать пришлось бы больше.

— Пока не будет профессиональной лиги, ничего не изменится.

— Я не хочу, чтобы у Марики была профессия «футболист», — насторожилась мама.

— А инженер — лучше? — горько удивился дядя Боря.

— Не всю же жизнь он будет играть в этот футбол! — не сдавалась мама.

— Зачем всю? Круифф уже в тридцать был миллионером...

— Это у них, — уточнил дедушка Додя.

— У нас тоже бывают, только подпольные, — не согласился папа.

— Давид, прекрати эти разговоры, Давид! — не выдержала наконец бабушка Соня. Назвав мужа Давидом, а не Додей, она дала понять, что отнюдь не шутит. — Какие подпольные? Даже слышать не хочу ни про какие подпольные.

— Не волнуйся, мама. К футболистам это не имеет отношения, — успокоил ее сын и, обнаружив несвойственную ему трезвость, добавил:

— И вообще, кто знает, как все еще сложится?

Папа как в воду смотрел. Конечно, он не мог предвидеть всех препятствий на пути у Марики, но чувствовал, что без них не обойдется. И они не замедлили возникнуть.

Во-первых, уже вскоре после успешной сдачи футбольного экзамена от Лайнеров потребовалось принять ответственное решение: перевести Марику в 77-ю школу, ибо именно там имелся «футбольный класс» — база шарлатановской команды. Казалось бы, чего проще? Но школа эта

находилась на противоположном конце города, езда до нее требовала трех видов транспорта, и отпускать ребенка в такой путь одного было немыслимо. Значит, его должна была сопровождать бабушка. Но взвалить на Софью Исааковну двенадцать поездок в неделю и все в часы пик с вытекающими из этого радостями — тоже не представлялось возможным. К тому же, самому Марику пришлось бы вставать на час раньше, что при всей его любви к мячу и уважению к Шарлатану, не очень-то ему улыбалось.

Конечно, можно было поменять квартиру. Этот вариант тоже рассматривался, но был отвергнут, как не удовлетворяющий подавляющее большинство. После бурных семейных дискуссий было принято первое ставящее под сомнение футбольную судьбу Марика решение: в 77-ю школу пока не переводиться.

Шарлатан с ним сначала категорически не согласился, но после визита к нему папы и Леонида Семеновича Колбасинского пошел на компромисс, каковой и был принят в формулировке тренера-психолога Гули: «Дать годичный испытательный срок и, в случае успешного его прохождения, без всяких дураков вступать в специализированный класс».

Половина забот отпала. Правда, нужно было еще каждый день являться на тренировку, но футбольная база была поближе, и бабушка Соня вполнеправлялась со своими конвойными функциями.

Сложность оказалась в другом: чем увлеченнее тренировался Марик, чем заметнее становились его успехи (а они были), тем меньше волновали его двойки в дневнике. А они тоже были. И в большом количестве. Дело дошло до того, что классный руководитель Светлана Сергеевна и тренер Шкарлата, не сговариваясь, заявили: «Если так будет продолжаться и дальше, с футболом придется решительно покончить».

— Я же вам говорил, переводите, — сказал Шкарлата, когда Лайнеры пришли к нему выяснить отношения. — В нашем классе отличником, может, и не стал бы, но свою четверку...

— Какая там четверка, — вздохнула мама. А папа только безнадежно махнул рукой.

Пришлось все школьные предметы закрепить за отдельными членами семьи и засесть за учебники: математику взял на себя дядя Боря, русский язык — мама, всякие там истории-географии — папа, а бабушка Соня — общее руководство и рациональное питание.

Совместными усилиями удалось ликвидировать неуды в четвертях и подобраться, наконец, к текущим двойкам. «Хорошо текущим,» — говорил дядя Боря, хоть ему-то достался не самый трудный участок, ибо математика была все же не слабейшим местом будущей футбольной звезды.

Главная, постоянно действующая брешь зияла в правописании. С очаровательной небрежностью Марик делал от 8 до 25 грубых грамматических ошибок в любой самостоятельной работе, а о негрубых не

стоит даже и упоминать. Юный футболист непредсказуемо коверкал самые простые слова, исковеркать которые, казалось, просто невозможно. Что, например, можно изменить в слове тарелка? Кому придет в голову написать «старилка» или «тырелка»? Марику это удавалось запросто. Из самых безвариантных, элементарных слов у него рождались такие неологизмы, что учительница только руками разводила: салат превращался в салют, вода становилась ватой, окошко делилось на два слова, так что вся фраза «Окошко было закрыто шторами» преображалась, становясь таинственной и загадочной: «А кошка была зарыта штормами».

— У меня всегда была пятерка по русскому языку, — отмела от себя подозрения в отягощении наследственности мама.

— Я тоже окно с кошкой не путал, — обиделся папа.

— Мариk весь в моего деда, — вмешалась Софья Исааковна. — Рэб Шаул тоже путал кошку и кишу, гребешок и грабеж.

— Он же вообще не знал русского языка, — уточнил Лев Давидович Лайнер.

— Как это не знал? — обиделась Софья Исааковна. — А как же он дела вел? Да еще какие дела!

— Так и вел, — упорствовал Лев Давидович, — как Шолом-Алейхем писал: половина по-еврейски, а остальное — на пальцах.

— Дай бог, чтоб теперь так на компьютерах вели! — сказала Софья Исааковна, давая почувствовать, что хоть ее дедушка, может быть, и не знал русского языка, но она-то женщина вполне современная.

— Мой дедушка тоже был не последним человеком в Сквире, — горько сказала Рая Лайнер, — но разве от этого легче? Я не знаю, как сделать, чтобы Мариk почувствовал язык. И вообще — этот футбол меня с ума сведет.

— При чем тут футбол? — удивился Лев Давидович.

— А при том, что послушай, как они выражаются, когда гоняют мяч. Разве это русский язык? Разве это вообще какой-то язык?

Что можно было возразить расстроенной Раисе Михайловне Лайнер? Ведь достаточно постоять пятнадцать минут у кромки игрового поля, чтобы убедиться, что она таки да права: игроки для объяснений используют что угодно, только не великий и могучий русский язык. И какому языку вообще принадлежат эти словечки: «Тыма, шата, сизя, кона, цыпа...»? Можно ли в них узнать фамилии игроков Тымченко, Шаталова, Сизова, Кононенко, Цыпалова? А кто переведет выражения: «Сыпь сюда!», «Вешай!», «Коси!», когда речь идет явно не о сахаре, белье и сенокосе? Положа руку на сердце, следует признать: футбол, всесторонне развивая человека, чувство мяча все же развивает значительно лучше, чем чувство языка. И этого не может опровергнуть даже телекомментатор Владимир Маслаченко, явно гордящийся своей способностью выражаться красиво. Именно гордость и выдает его, ибо он каждый раз как бы

убеждает слушателей: «Вот видите, как я красиво говорю? А вы думали, что футболисты не способны на это».

Исключения, как известно, лишь подтверждают правило, но Марику явно не светило стать исключением. Героическими усилиями мамы он в конце концов обрел тройку по русскому языку, но с постоянным минусом, напоминавшим мостик, перекинутый к близлежащей двойке.

— Как он будет поступать в институт? — хватался за голову папа.

— Если захотят принять, так примут, — успокаивал дедушка Додя.

— Но не могут же они за него писать сочинение?

— А, теперь каждый день все меняется. Может, к тому времени и экзаменов не будет, — высказала предположение бабушка Соня.

— Так будет конкурс аттестатов. Еще хуже.

— Если захотят принять... — упрямо повторил дедушка.

— Захотеть могут только в институте физкультуры, а я не хочу, чтобы у него и образование было футбольным, — возразила мама.

— Можно в инженеров железнодорожного транспорта, а играть в «Локомотив», — подсказал дядя Боря.

Эта мысль понравилась всем. Впервые за последнее время вся семья проявила единодушие, правда, в отличие от дяди Бори и бабушки Сони, считавших вопрос решенным, папа при молчаливой поддержке мамы и дедушки добавил:

— Все-таки надо там зондировать почву. На Шарлатана рассчитывать не приходится, потому что в уходе Марика в «Локомотив» он не заинтересован.

С этим тоже согласились все, и судьба Марика таким образом была решена. Правда, будущий железнодорожник не знал об этом, да, откровенно говоря, не очень и интересовался своим будущим. Он упоенно гонял мяч на тренировках, а в свободное от тренировок время норовил выскочить во двор и постучать по мячу с дворовой мелюзгой, нисколько не становясь в позу великого профессионала. Если же ему не удавалось вырваться из квартиры, он жонглировал мячом в комнате, пользуясь попустительством бабушки, хоть и боявшейся за люстру, но считавшей необходимым давать ребенку возможность активно отдохнуть в перерывах между математикой и русским языком.

А на занятиях у Шарлатана все вообще было просто: главный тренер или часто заменявший его Владимир Дошлый после общей разминки делили всю группу на две части и устанавливали мяч в центре площадки. Постоянных команд не было: просто одна часть надевала оранжевые майки, а вторая — синие. Но постепенно начали намечаться отдельные звенья, связки из двух-трех мальчишек, хорошо взаимодействующих между собой. Тренеры не возражали, чтобы они играли в одной команде.

Так сложилась тройка Сережа Ткачук — Вадик Зозуля — Коля Кононенко. Примерно одного роста, даже чем-то похожие друг на друга, эти светловолосые крепыши четко взаимодействовали: Вадик и Коля

держались чуть сзади и обеспечивали своего лидера Сережу Ткачука мячами, когда он смело шел в прорыв. Команда, за которую играла эта тройка, всегда имела преимущество, потому что остальные все еще барахтались в путах известной системы «бей-беги» и передвигались по полю вслед за мячом в основном кучей.

К сожалению, то ли специально, то ли по роковому совпадению Марик всегда оказывался в команде, игравшей против великолепной тройки, и хоть кое в чем превосходил Сережу Ткачука, отличавшегося некоторой прямолинейностью и любовью к излишнему силовому единоборству, но проигрывал ему по результативности, ибо не имел не только хороших, но и вообще никаких ассистентов. Как бы удачно ни выбрал он позицию, как бы ловко ни освободился от опеки, отсутствие своевременно посланного мяча не позволяло ему создать голевую ситуацию. И сколько он ни кричал и ни размахивал руками — ничего не менялось. Никто из его партнеров просто не мог увидеть все поле и оценить ситуацию. Ему самому нужно было добыть мяч, пройти с ним через всю площадку, освободиться от наседающих со всех сторон защитников и только после этого ударить по воротам. При этом он выполнял, как любят говорить футбольные комментаторы, большой объем работы, но чаще всего она, к сожалению, была бесполезной.

Лишь однажды, когда заболел Сережа Ткачук, Шкарлата поставил Марика в связку с Вадимом и Николаем. За первые же тридцать минут игры Лайнер забил четыре гола и дважды точными пасами вывел на ворота своих ассистентов. Но Шарлатан вроде бы и не заметил высокой эффективности игры Марика: в следующий раз он опять был брошен в слабейшую команду.

Надо, кстати, сказать, что в футбольной секции, насчитывавшей поначалу 46 человек, каким-то непонятным образом оказались многие из тех, кто явно не выдерживал вступительных экзаменов. Был даже один из толстых мальчиков, вообще не допущенных к испытаниям. Со временем они исчезли уже окончательно, но и среди оставшихся 31 тоже хватало «коллективистов», толпой бросавшихся на мяч и старавшихся любой ценой ударить по нему, нисколько не заботясь, куда он отправится и кому попадет.

Тем более остается загадкой, как Шарлатан мог не заметить интуитивного умения юного Лайнера выбирать место на поле? В отличие от многих своих коллег, Марик чаще всего перемещался не в сиюминутный пункт нахождения мяча, а на свободное пространство. Если бы кто-нибудь поддерживал его маневры, голевые ситуации возникали бы одна за другой. А так создавалось впечатление, что он просто избегает единоборств, как однажды и предположил в разговоре с Шарлатаном Владимир Дошлый. Он употребил даже словечко «хитрюган», вообще ставившее под сомнение бойцовские качества Лайнера.

Но директор футбольной школы не поддержал его. Не вдаваясь в подробные объяснения, он выразился в том смысле, что этого парня не надо трогать, у него другое предназначение. Какое именно, он не сказал, но хорошо знающий своего шефа Дошлый сразу понял: Шарлатан готовит Марика «на продажу». В чем эта «продажа» заключалась, мы еще будем иметь возможность показать.

Между тем семья, ничего не зная о коварных планах тренера, все же испытывала определенное беспокойство. Папа и дядя Боря не могли не заметить, что Марик неизменно попадает в слабейшую команду и, хоть он там самый лучший, гарантированное поражение команды, конечно же, действует на ребенка угнетающе. Почему Шарлатан не ставит его вместе с Ткачуком? Зачем разжигает тайное соперничество между ними?

Дядя Боря был склонен усматривать в этом дискриминацию и опасался, что виною тому фамилия. Родственник Колбасинский, прямо спрошенный об этом, энергично отрицал такую возможность: за Шарлатаном де не водится. Выяснить отношения с тренером он тоже не советовал и вообще считал все это ерундой. «Живите спокойно, — убеждал он Лайнера-Зайдманов, — не в этом счастье. Что — это окончательные команды? Еще сто раз все переменится. Из первоначальной группы до приличного уровня доходят единицы. Важно оказаться среди них. А для этого нужно беречь здоровье и не сушить себе мозги разными глупостями. Я не знаю, будет ли Шарлатан счастлив, если его дочь захочет выйти замуж за еврея, но что он оценит хорошего игрока, будь тот хоть трижды евреем, я ручаюсь».

Что могли возразить ему Лайнера-Зайдманы? И что они могли предпринять? Оставалось ждать и надеяться, занимаясь повседневными заботами и проблемами, среди которых почти всегда на первом месте оставалась учеба Марика в школе. Правда, зимой стало немножко легче: что ни говори, а гонять мяч от зари до зари было невозможно. Оставались только тренировки в зале строительного института (а он был почти рядом с домом) или недолгие игры на заснеженных площадках, если не лютовал мороз.

Марику все это шло на пользу: густой румянец покрывал его щеки. Он заметно вытянулся и окреп. С уроками тоже кое-как справлялся, ибо родители не ослабляли усилий. Правда, на некоторое время почти оставил свои менторские функции дядя Боря: он, наконец, решил жениться.

Счастье бабушки Фиры было безграничным. Во-первых, дотянув до 32-х лет и утвердившись в привычках холостяка, Борис Михайлович, казалось, вообще не думал о браке. Во-вторых, невестой оказалась (не совсем неожиданно для Эсфири Наумовны) очаровательная Инночка Кушнир, единственная дочь давних знакомых, молодая, хорошо устроенная преподавательница английского языка. Она выросла буквально на глазах Эсфири Наумовны, и о лучшей невестке просто невозможно было мечтать.

Свадьба состоялась в кафе «Радуга», хоть Борис Михайлович энергично протестовал против всяких торжеств. Но как было это объяснить родственникам и друзьям? Правда, и сама Эсфири Наумовна не предполагала, что таковых окажется 124 человека.

В конце концов все получилось очень хорошо. Гости, многие из которых никогда даже не видели друг друга, быстро освоились и перезнакомились. Этому способствовала и музыка. Музыкантами руководил внук фронтового друга Давида Абрамовича Лайнера — Слава Соловейчик. Его ребята работали не покладая рук (не за так, конечно), и музыка заставила всех объединиться, стряхнуть с себя вялость и апатию.

Марик с удивлением смотрел на танцующую бабушку Соню, а когда она вытянула в круг и Давида Абрамовича и он, звеня всеми своими орденами и медалями, сделал несколько па, Марик не выдержал и крикнул как на футбольном поле: «Деда, давай!» Мама шикнула на него, но дед только улыбнулся в ответ и сделал вид, что хочет пуститься вприсядку.

А потом музыканты заиграли тягучую и немножко печальную мелодию, и все, кто танцевал, взбрыкивая ногами и размахивая руками, остановились. И вдруг над всеми, в кресле, высоко поднятом руками папы, дяди Бори, родственника Колбасинского и папиного двоюродного брата дяди Ромы, поплыла бабушка Фира. Она подняла руки и как бы пританцовывала. А вокруг нее, взвившись за руки, все выстроились в хоровод и, раскачиваясь, как деревца под ветром, медленно двинулись по залу.

— Что это? — спросил Марик у мамы.

— Старинный танец в честь матери жениха, — ответила мама и тоже стала в круг, а Марик остался один и немножко боялся, что папа и дядя Боря уронят бабушку Фиру.

Но ничего плохого не произошло. Опять зазвучала быстрая музыка, бабушка сошла с высот на землю, и вся молодежь опять заскакала, смешно перебирая ногами и взмахивая руками.

А потом давали мороженое, и Марик, пользуясь общей неразберихой, съел две порции, запивая свое удовольствие «Фантой». К сожалению, ему пришлось уйти с бабушкой Соней и дедушкой Додей, когда веселье еще было в самом разгаре. Но уже пробило одиннадцать, и хоть завтра — выходной день, но тренировку никто не отменял да и уроки, как всегда, еще ждали Марика.

После свадьбы дядя Боря какое-то время вообще не появлялся у Лайнеров, потом пришел со своей молодой женой, и Марик понял, что отныне у него добавилось опекунов. Тетя Инна, очень веселая и смешливая, всегда готовая пошутить и посмеяться, оказалась в том, что касалось занятий, человеком неуступчивым и даже жестким. Через несколько дней мама полностью отдала ей наоткуп русский язык и, надо сказать, правильно поступила.

Тетя Инна начала с игр в слова, со «спортивных игр», подчеркивала она. Действительно, они всегда носили характер соревнования: кто больше и быстрее сделает перестановки в избранном слове, создавая новые слова; или кто больше придумает слов, родственных взятым слову.

Марик поначалу безнадежно проигрывал: он никак не мог вспомнить самые обыкновенные слова, а созданных им самим — часто не существовало в природе. Например, образуя слова из букв слова «бантустан», он не использовал уже готовые «бант» и «стан», зато создал «бус», имея в виду бусину, и «насан», предполагая, что это значит — «человек с большим носом».

Но тетя Инна самые его ошибки использовала для игры, и скоро Марик начал задумываться над словами, обнаружив, что нередко их легко проверить, что «насан» не может быть, потому что существует «нос», а не «нас», «бег», а не «биг», «смех», а не «смих». Конечно, «великий и могучий» имел в запасе столько исключений, переходов одной буквы в другую и необъяснимых ударений, что постичь их все было просто невозможно, но в результате «спортивных игр» и незаметно как выученных правил количество ошибок у Марика резко сократилось. Теперь тройка у него стояла твердо и не перебрасывала никаких мостиков. А когда он получил первую четверку, в семье по инициативе тети Инны был устроен праздник. И это Марику тоже очень понравилось.

Но не только Инночка Зайдман влияла на Марика. Очень скоро оказалось, что и Марик активно повлиял на нее. Короче говоря, она увлеклась футболом. Она начала появляться на тренировках, особенно когда играли на открытых площадках, и очень быстро разобралась, что к чему. Ей, например, первой стало ясно, что Шарлатан специально держит Марика в слабейшей команде, готовя его к какой-то миссии, которую можно выполнять только в одиночку.

Это она посоветовала Марику договориться со своим вратарем и по крайней мере одним защитником, чтобы они выбивали мяч не просто подальше, а на определенное место, где его будет уже ждать Марик. Если у вратаря и у защитника Димы Билая это получалось, Марик сразу оказывался на оперативном просторе, создавая реальную угрозу воротам. В результате несколько раз слабейшей команде удавалось выигрывать, и в каждом выигранном матче Марик забивал не меньше трех голов.

Это не осталось незамеченным. Неожиданно на одной из тренировочных игр Шарлатан сам стал в защиту слабейшей команды. Вперед он не шел, играл только на своей половине поля, но точно снабжал нападающих мячами, и большинство их доставалось Марику. Тренер как бы проверял, догадается ли юный Лайнер, куда будет подан мяч. И в большинстве случаев Марик догадывался. Он начинал ускорение, когда Шарлатан еще только отводил ногу для удара, и оказывался с мячом, уже на скорости, прямо против ворот соперников. Несколько раз мяч подавался за спины защитников, и раньше всех у него оказывался Марик.

Так он забил два гола с игры и один с пенальти, потому что защитнику ничего не оставалось, как схватить его руками и свалить на землю.

После игры наблюдавшие за встречей Дошлый и Гуля сочли нужным похвалить Марику, причем Гуля сказал свое неизменное: «Молоток!», а Дошлый с некоторым даже удивлением отметил: «Ну ты, парень, даешь!» Сам же Шарлатан сказал своим коллегам загадочную фразу: «Порядок! Можно продавать».

Представляю, в какой бы ужас пришло семейство Лайнеров, если бы кто-нибудь из его представителей услышал эти слова. Какие страшные предположения и бурные обсуждения последовали бы! Наверняка Марику пришлось бы расстаться с футболом или по крайней мере прекратить занятия у Шкарлаты.

К счастью, единственная фраза осталась им неизвестной. Марику сообщил только, что его сегодня похвалило все руководство школы. Правда, эффект этой приятной вести был несколько снижен огромным синяком под левым глазом, заработанным героем в столкновении у штрафной площадки. На вопрос, как это случилось, Марику объяснил, что он принял мяч и прикрывал его корпусом, а защитник головой вперед бросился отбирать его.

— Костоломы, — сказал папа, явно стремясь к обобщениям. А Софья Исааковна, услышав только «прикрывал мяч корпусом», резонно заметила: «Лучше бы ты глаза руками прикрыл», на что Марику не менее резонно ответил: «А как бы я играл с закрытыми глазами?»

Через несколько дней синяк пожелтел, побледнел и вскоре окончательно исчез. Марику и сам уже начал забывать о приходе тренера, снабжившего его отличными пассами. Но Шарлатан ничего не забыл. Однажды после тренировки он сказал Марику как о чем-то обычном, само собой разумеющемся:

— В воскресенье сыграешь за «Олимпию». Знаешь такую команду?

— Нет, — честно признался Марику.

— Значит, узнаешь, — ответил Шарлатан и подробно объяснил, когда и куда приходит.

— Я сам у него спрошу, что это за гастроли, — заволновался папа.

— Сначала посмотрим команду, — остановил его дедушка, подтвердив тем самым, что и он собирается посетить игру.

Компания вообще собралась солидная: дедушка Додя и бабушка Соня, естественно, папа и мама, дядя Боря с женой и вдруг тоже загоревшаяся футбольной лихорадкой бабушка Фира, которая в футболе ничего не понимала и даже гордилась этим.

Через весь город семейство отправилось на стадион «Красный бу-
мажник», где их ждали уже Шарлатан и тренер «Олимпии» Анатолий Пушкик. Тут же выяснилось, что «Олимпия» как бы дворовая команда, участвующая в турнире как бы дворовых команд города, и в случае победы ей предстоит выступать во Всесоюзном турнире таких же команд.

А турнир этот настоящий и призы настоящие. И вообще, Марику оказана честь...

Когда на поле выбежали футболисты «Олимпии», Мариик оказался самым маленьким в шеренге. Лишь у противников, команды «Рубин», имелась парочка ребят его роста. Но на поле Мариик не затерялся. Его салатная футболка с черной «десяткой» на спине все время появлялась в опасной близости от ворот «Рубина» и держала в напряжении защитников.

Правда, мяч ему доставался редко: хоть тренер Пушкик и предупредил ребят, чтобы они пасовали на свободные участки поля, куда будет врываться Мариик, давать мяч чужому никто не торопился. Они сами пытались прорваться через центр, где неизменно возникала толчая, мяч увязал в ногах, атака глохла, а до угроз воротам противника дело так и не доходило. За весь первый тайм мяч лишь дважды оказался у Мариика — один раз просто выкатился из кучи в центре поля, а второй раз ему отдал точный пас защитник противника.

И сразу возникли очень опасные ситуации, только чудом не завершившиеся голами: в первом случае Мариик был сам, но попал в штангу, а во втором — смеялся с мячом на фланг, куда за ним устремились все защитники «Рубина», и подал мяч в штрафную площадку, где набегающая «девятка» «Олимпии» — Коля Храпко просто не мог его не забить. Но, к сожалению, центрфорвард совершил невозможное.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Рубина» и в соответствующем настроении.

— Что же вы делаете? — страдающим голосом спросил Пушкик, когда «Олимпия» зашла в свою раздевалку. — Я вам как приказывал играть? Почему в центре топчетесь? Почему ни одного паса Лайнера не дали? Мне что, самому выходить на поле?

Он был вне себя от бешенства, а ребята подавленно молчали, потому что действительно ни одной установки тренера не выполнили.

— Короче, так, — окончив разнос, перешел к инструкциям Пушкик, — всем играть на Лайнера и Храпко. Не больше трех передач, включая и вратарскую, и чтоб мяч был у них. А вы не жадничайте, — обратился он уже к нападающим, — отдавайте мяч партнеру, если он в лучшей позиции. И запомните: этот матч решающий, проиграем — не едем на зону. И, значит, конец вашей команде и вашему футболу, потому что я со слабаками работать не буду...

На деревянных скамьях, тянувшихся вдоль поля, там, где сидели Лайнера, естественно, ничего об этом не знали. Оставалось строить предположения:

— Зачем они поставили Мариика? — возмущался папа. — Чтобы не давать ему играть?

— Ну что ты хочешь, он же первый раз их видит, — возражала мама.

— А почему было не потренироваться заранее? — недоумевал дядя Боря.

— Это они специально подстроили, — высказала предположение бабушка Фира, хоть не совсем ясно представляла сама: кто они? что подстроили? и о чем вообще идет речь?

Наиболее разумную позицию, как всегда, занял дедушка Додя и Инночка Зайдман. Они считали, что, во-первых, ничего страшного не произошло, а во-вторых, еще неизвестно, как все окончится.

— Разве для Марика так важно, чтобы эта команда выиграла? — спросила Инночка.

— Какое он имеет отношение к этой «Олимпии»? — включилась бабушка Соня.

Исход матча не имеет для нас никакого значения, — продолжала Инночка, и все с ней вынуждены были согласиться. Семья, естественно, не могла знать, что именно в этом они и ошибаются, что эта игра будет иметь для Марика очень важные последствия...

Вторая половина матча была совершенно не похожа на первую. Игроки «Рубина», очевидно, получили инструкцию усилить защиту. Они стояли плотной стеной, и пройти ее было невозможно. Кроме того, Марик и Коля Храпко получили двух персональных «опекунов», которые бегали за ними буквально по пятам.

И все же нападение торжествовало над защитой. Стоило только «Олимпии» несколько раз провести простую трехходовку, конечным звеном которой оказывались Лайнер или Храпко, как становилось ясно, что массированная оборона, стремящаяся сбиться в кучу, просто не успевает ликвидировать прорывы.

Первый гол Марик забил, получив мяч от защитника возле центра поля. Приняв его на грудь, он дал ему скатиться на ногу, перебросил через себя, чем сразу избавился от «опекуна». Конечно, удар вдогонку по ногам Марик получил, но зато перед ним открылся прямой путь к воротам, перекрыть который явно не успевала ринувшаяся наперерез толпа защитников. Это понимал и вратарь «Рубина». Чтобы сузить угол обстрела ворот, он рванулся навстречу, но Марик, не стремясь пройти как можно ближе, просто перекинул через него мяч. Набегающие защитники смогли лишь проводить его взглядом.

Второй гол забил Коля Храпко. Он получил мяч на правом фланге и сразу погнал его вперед. Марик же, обойдя слева защитников, тоже рванулся к воротам «Рубина». Когда, «болтнув» по дороге двух защитников, Коля выскочил на третьего, Марик был уже рядом. Они сыграли «в стенку», то есть Коля отдал мяч Марику и заставил защитника шагнуть вправо, но мгновенно отбитый Мариком мяч тут же вернулся к Храпко. Ничего не мешало ему теперь продвинуться еще ближе к воротам и ударить в дальний от вратаря угол. Это, как говорится, было уже делом техники.

Потом Марик забил еще один гол, когда подавали угловой. Он подхватил мяч, не долетевший до толкучки около ворот, вышел из штрафной площадки и, пока все ждали, что он будет навешивать «в борьбу», ударил по воротам. Вратарь, закрытый своими и чужими игроками, ни момента удара, ни летящего мяча не видел.

После игры Шарлатан и Пушик подошли к Лайнерам и, сдержанно похвалив Марика («Слово лишнее боялись сказать», — обиделась бабушка Фира, хоть в игре ровным счетом ничего не поняла), сказали, что нужно будет поиграть в «Олимпии» и выступить за нее в зональных соревнованиях, а может быть, и в финале.

— Кому нужно? — не удержался дядя Боря.

— Марику, — без колебаний ответил Пушик. — Турнирный опыт получит, научится взаимодействовать с партнерами постарше...

— А разве можно играть со старшими? — удивилась мама.

— Конечно! — успокоил ее Шарлатан. — С младшими нельзя, а со старшими — сколько угодно!

— Ну, пусть играет, — согласился было папа, но Инночка Зайдман задала еще один вопрос и сразу повернула разговор в новое русло:

— А разве Марик имеет право играть за вас в турнире дворовых команд, если он из юношеской спортившколы?

— А кто об этом будет знать? — удивился Шарлатан.

— Как кто? А Марик? — включилась бабушка Соня. — Что же — ребенок должен вратарь?

— Да никто его и спрашивать не будет! — успокоил Пушик, но Лайнеры не успокоились.

— Скрывать — это тоже значит вратарь, — веско сказал дедушка Додя, и ему с его солидностью и орденскими колодками ни Шарлатан, ни Пушик не решились возразить.

Короче говоря, встреча проходила в теплой, дружеской атмосфере, но взаимопонимания на этот раз добиться явно не удалось. Лайнеры забрали Марика и, холодно простиившись с обескураженными тренерами, гордо удалились, полагая, что возврата к неприятному разговору не будет. Они ведь не могли знать, как много надежд связывал с «Олимпией» Пушик, и что в связи с этим он готов был сделать для Шарлатана за ценного игрока.

«Олимпия» официально числилась состоящей при ЖЭКе № 15, где Пушик занимал высокую должность воспитателя, не слишком престижную для специалиста с высшим спортивным образованием.

Не будем уточнять, какие обстоятельства привели его в наш город (некогда Анатолий Пушик играл за ленинградский «Зенит») и в ЖЭК № 15. Важнее, что любимым лозунгом тренера «Олимпии» было выражение великого селекционера Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача», причем в понятие «природа» входил и ЖЭК, и городской спортивный комитет, и руководство спорг-

школы, и, наконец, директор техникума легкой промышленности, который вроде бы хотел взять Пушкика к себе на должность председателя спортивклуба, но все никак не мог решиться.

Для изъятия милостей у столь многоликой природы и следовало добиться крупного успеха, а именно — выиграть городской турнир детских команд, прорваться на зональные соревнования и на них тоже выступить пристойно.

Надеяться добиться этого с действительно дворовой командой было нелепо. Мальчишки, откликнувшиеся поначалу на призыв ЖЭКа, производили просто жалкое впечатление: с ними можно было разве что гонять мячик для здоровья, спасаясь от тлетворного влияния улицы. Но этой благотворительностью Пушкик заниматься не собирался, называя своих подопечных не иначе как «дворняжками».

Однако, если кто-то думает, что собрать десятка полтора юных футбольистов, а не любителей побацать по мячу в свободное от телевизора время — это просто, смею заверить: он очень ошибается. Ведь нужны или фанаты игры, или ребята, хорошо знающие, чего они хотят и чем готовы ради этого пожертвовать. Таких среди «дворняжек» не найдешь. Но Анатолий Пушкик не зря ссыпался на селекционера Мичурина. Он и сам чувствовал себя селекционером, правда, в чисто футбольном смысле: найти (у других), «купить» и привести в свою команду — так он понимал селекцию, а главный смысл ее видел именно в «купле», ибо для нее нужно было обладать особым умением и особым капиталом. Чем мог он, например, заплатить за Марика Лайнера? Конечно, речь не шла просто о деньгах. Значит, услуги. А какие услуги может предложить человек без определенного положения, бывший профессиональный футболист, к тому же относительно недавно вернувшийся в наш город?

Но так может спрашивать только очень наивный человек. Неужели в век научно-технической революции, тем более в момент ее ускорения, имеет значение, давно ли человек живет в определенном городе да какое официальное положение занимает? Не об этом нужно спрашивать, желая оценить потенциальные возможности героя. Ибо связи и только связи делают человека всемогущим.

А связи у Пушкика были, и настолько действенные, что из-за них-то и пришлось в свое время расстаться с Ленинградом. Нет, он не был крупной фигурой ни в какой ленинградской иерархии, но в каком-то смысле являлся фигурой незаменимой, ибо никто лучше его не умел пристроить привезенную из-за рубежа видео — и проигрывающую аппаратуру или кассеты, никто лучше не мог найти потенциального (абсолютно надежного!) клиента, для которого уже целенаправленно дооставлялась заказанная техника.

Привозили ее чаще всего выезжавшие за рубеж спортсмены и тренеры, высоко ценившие посреднические услуги Пушкика. И хоть дело представлялось довольно рискованным, он долго существовал более чем безбедно.

Потом случился небольшой провал, связанный с посадкой и конфискацией имущества у одного клиента. Пушкик это задело лишь косвенно, но из Ленинграда он предпочел исчезнуть, увозя с собой старые адреса отнюдь не переставших функционировать источников.

В нашем городе потенциальных клиентов у Пушкика намечалось побольше, чем в Ленинграде, ибо здесь практически не было конкурентов. Фирма заработала с новой силой, и именно с ее успехами связывал свои надежды и расчеты тренер «Олимпии». Это и было его валютой, его волшебной палочкой, открывавшей многие двери.

Широко варьируя цены на аппаратуру, он мог оказывать услуги разной степени. Одним достаточно было просто доставить товар, и они соглашались платить любую цену. Другим приходилось делать различные скидки, иногда такие, что Пушкик, характеризуя их, говорил: «Себе дороже», хоть, если честно, до убытков дело никогда не доходило. Именно поэтому он отнюдь не прогорел, почти укомплектовав «Олимпию» ребятами со всего города.

За Коля Храпко он расплатился с тренером «Трудовых резервов» видеоприставкой по умеренной цене и одной подаренной видеокассетой. А за дополнительную парочку кассет в «Олимпии» появилось еще трое ребят из ПГУ № 24, имевшего специальный футбольный класс.

Шарлатану за хорошего нападающего был обещан полный комплект проигрывающей и видеоаппаратуры по весьма умеренной цене да к тому же еще и в рассрочку, что являлось абсолютным признаком режима наибольшего благоприятствования.

Какое счастье, что Лайнеры всего этого не знали! Как были бы они потрясены самой возможностью спекуляции на ребенке, да еще и связанный с подпольным бизнесом, с ввозимыми из-за рубежа вещами, одного упоминания о которых они инстинктивно боялись как огня. И можно себе представить, как был потрясен Лайнер-папа, когда приведя на очередную тренировку Марика, застал там Пушкика и тот, не привыкший иметь дело с людьми слишком щепетильными, напрямик спросил, какая нужна Лайнерам видеоаппаратура.

— Отечественная? — как-то автоматически поинтересовался папа. На что Пушкик гордо ответил:

— За кого вы меня принимаете? Японская! Лучшая в мире.

Папа, конечно, отказался от услуг Пушкика, но тот с грубой настойчивостью предлагал что-то еще, явно стремясь стать нужным человеком, чем окончательно испугал Льва Давидовича.

— Он меня явно хотел купить! — взволнованно говорил он жене по возвращении домой. — Чего он от нас хочет? Что ему нужно от нас? Какой-то подозрительный тип.

Все попытки успокоить его ни к чему не привели, ибо успокаивали его доводами типа: «Не волнуйся, это обычный спекулянт», или «Не волнуйся, мы не позволим украсть ребенка», или, наконец: «Не

волнуйся, все они бандиты», причем успокаивающие волновались сами ничуть не меньше Льва Давидовича и все свои успокоительные фразы произносили на таких тонах, как будто вот-вот должна разверзнуться земля и поглотить все семейство Лайнеров-Зайдманов. Относительное спокойствие сохранял лишь дедушка, который и принял единственно возможное в этой области решение: вызвать на совет спортивного родственника Колбасинского.

Леонид Семенович был вызван и поначалу попробовал отделаться шутками. Но волнение Лайнеров, слишком очевидное, заставило его разговаривать серьезно. Его уверенность, что речь идет о деле обыкновеннейшем, даже заурядном, а именно о желании создать «гастрольную» команду разового использования, способную прилично сыграть в одном турнире, не очень успокаивала, но во всяком случае лишала ситуацию криминальной таинственности.

Марик был нужен Пушкиу, но был ли Пушки нужен Марiku? — вот в чем состоял почти гамлетовский вопрос. Колбасинский своего ответа на него не имел, Лайнеры — тем более. С одной стороны они категорически не хотели связываться с явно непонравившимся им Пушкиком, но с другой стороны опасались, чтобы к Марiku не были применены санкции со стороны Шарлатана, потому что еще неизвестно, какова его заинтересованность в выступлении Марика за «Олимпию». Выяснить это и поручалось Леониду Семеновичу Колбасинскому.

Свое задание Колбасинский выполнил чрезвычайно быстро: уже через два дня он переговорил со всеми заинтересованными лицами и готов был отвечать на любые вопросы, причем в его настроении произошла заметная перемена: он явно склонялся в пользу выступления Марика за «Олимпию», аргументируя это необходимостью приобретения ценного опыта, возможностью участия в очень интересном турнире, попасть на который в ином случае не представлялось возможным.

На возражение Лайнеров, что Марiku придется скрывать свою принадлежность к спортившколе, Колбасинский только улыбнулся, высказав глубокую мысль: «В спорте страшно только одно — если нечего скрывать». Что касается Шарлатана, то гнева с его стороны в случае отказа опасаться не следовало, но он настойчиво рекомендовал поиграть за «Олимпию» для совершенствования. Кроме того, успешное участие в массовом турнире могло, якобы, пригодиться при дальнейшем поступлении в институт.

Последний аргумент был творчеством самого Колбасинского, ибо где еще был тот институт? Но именно он произвел самое глубокое впечатление на Лайнеров. На последующих семейных совещаниях он многократно обсуждался и сыграл свою роль в окончательном решении. Состояло оно в том, что Марик на недолгое время переходит в «Олимпию» и поедет в ее составе на зональные соревнования в Харьков. Шарлатан

и Пушкик со своей стороны гарантировали ему спокойную жизнь и абсолютную безопасность в смысле всяческих проверок.

Лайнеры, конечно, не догадывались, что Пушкик, с большой легкостью давший это обещание, никак не считал себя им связанным. На этом этапе он готов был обещать, что угодно, рассчитывая в случае победы воспользоваться неподсудностью победителя. Его эйфория поддерживалась и тем, что эти простачки Лайнера, которым пришлось бы предоставить аппаратуру по крайне низкой цене, по-чистоплюйски отказались от нее, а с не столь принципиального Колбасинского можно взять и побольше.

Естественно, все эти грозы и страсти прошли мимо Марика, хоть он и чувствовал, что родители постоянно чем-то взволнованы. Но когда Шарлатан еще раз сказал, а папа подтвердил, что он поступает в распоряжение Анатолия Валентиновича Пушкика, Лайнер-младший отнесся к этому спокойно. Ему было даже интересно: ведь что ни говори, а «Олимпия» явно посильней той слабейшей половины группы Шарлатана, за которую неизменно играл Марик.

И тренироваться стало интереснее: наигрывались комбинации, намечались схемы прорывов и атак, а во главе каждой из них оказывались Марик Лайнер или Коля Храпко. Их хорошо снабжали мячами трое сыгранных ребят из ПТУ № 24 — Сергей Снигур, Алеша Капелько и Игорь Косинский.

Марик чувствовал себя как рыба в воде. Он просто объедался обилием мячей, достававшихся ему, и изо всех сил старался не потерять без толку ни один из них. Конечно, не каждая атака может завершиться голом, но опасностью для ворот противника она должна становиться обязательно. Марик скорее чувствовал, чем сознавал это, что на практике выливалось в максимально бережное отношение к любому доставшемуся мячу, к любому пасу и передаче.

Если бы Пушкикставил себе не ограниченную во времени задачу, да и вообще — если бы Анатолий Пушкик не был Анатолием Пушкиком, он бы не форсировал подготовку «Олимпии», не натаскивал ребят на самые простые, максимум трехходовые комбинации, не заставлял бы Марика и Коля Храпко тысячу раз продельвать одно и то же: смещаться на край, уводя за собой защитников, и подавать мяч в центральную зону, куда уже врывается партнер. Он даже останавливал ребят, стремящихся к более сложным вариантам, пресекал их самодеятельность, через которую только и возможно прийти к творчеству на поле.

К счастью, из старших Лайнера никого, кроме Инночки Зайдман, этого не понимал. Они смирились с неизбежностью тренировок в «Олимпии», а смирившись, стремились отыскать в этом и что-то хорошее. Им казалось, что Пушкик гораздо внимательнее наблюдает за ребятами, в отличие от Шарлатана, пускавшего все на самотек. Им хотелось видеть в этом добрые намерения и даже педагогический дар, они выражали

готовность изменить свое мнение о таком антипатичном с первого взгляда Пушкике.

Этому способствовали и победоносные тренировочные игры, проведенные в городе перед отъездом в Харьков. Дважды встречалась «Олимпия» с воспитанниками Шарлатана и оба раза с весьма ощутимым преимуществом победила. Марик в двух встречах забил три гола, и родители испытывали естественную гордость и глубокое удовлетворение.

Перед самым отъездом «олимпийцы» встретились и с командой «Смена», представлявшей то самое ПТУ № 24, откуда последователь Мичуринова Пушкик «одолжил» четырех ведущих игроков. Игра началась с того, что вратарь «Смены» выбросил мяч рукой Коле Храпко, начисто забыв, что теперь это противник. Коля воспользовался подарком и забил первый гол, разозливший пэтэушников: они сочли, что перебежчик Храпко мог бы и не пользоваться объяснимой ошибкой вратаря. Правда, они не знали установки Пушкика, предвидевшего возможность таких ситуаций и возникновения у ребят всяких там сантиментов типа «жалко», «неувдно», «неспортивно» и так далее.

«Для настоящего игрока на поле существует только одна команда — та, за которую он сейчас играет, — сказал Пушкик. — А друзья его сейчас только те, кто играет с ним в одной команде. Все остальные — противники, враги. Кто этого не усвоит, никогда не станет классным игроком». А кто же из ребят не мечтал быть классным футболистом? И они разжигали в себе злость, резко выходили на мяч, пользовались любой оплошностью соперников.

А те в свою очередь начали грубить, охотясь на за мячом, а за игроками. Матч приобретал явно не товарищескую окраску и окончился для многих игроков приобретением синяков и шишек.

Получил небольшую травму и Марик: защитник «Смены» сыграл против него очень четко, в том, конечно, смысле, что целился в кость и очень точно попал в нее. Марик упал, вызвав переполох среди наблюдавших за игрой Лайнеров. С большим трудом им удалось удержать бабушку Соню, рванувшуюся на поле. Но успокоить ее окончательно так и не удалось, потому что Марик хоть и поднялся самостоятельно и снова включился в игру, но бегал, слегка прихрамывая, и нога у него явно болела.

Этот матч запомнился всем еще и потому, что был последним перед выездом в Харьков. Сразу после него начались сборы, предотъездная суэта и неразбериха. Можно себе представить, что творилось в доме Лайнеров, как заготавливались припасы, как создавались инструкции, как избирался сопровождающий, то есть второй сопровождающий, потому что роль первого вне конкурса заняла Софья Исааковна. Вторым чуть было не прошла к неудовольствию дяди Бори Инночка Зайдман. Она была готова ехать, тем более, что у нее начались каникулы. Папа с большим трудом устоял против ее аргументов, но все же сумел доказать

свои преимущества на случай жесткого разговора с Пушкиком, буде такая необходимость возникнет.

Лев Давидович уже оформил краткосрочный отпуск на заводе, запасся адресами знакомых в Харькове и собрал большой чемодан. Но за два дня до отъезда все планы вдруг полетели вверх тормашками: Пушкик заявил, что он категорически против поездки любого из родственников вместе с командой. Аргументировал он свое решение высокими педагогическими соображениями и никаких возражений не принимал, а в случае неподчинения угрожал отчислить из команды любого отпрыска чрезмерно заботливых родителей. Касалось это по существу именно Марика, ибо остальных ребят никто и не собирался эскортировать.

Сначала Лайнеры тоже заняли экстремистскую позицию: «Значит, не поедет!» Но пошумев и сделав много красноречивых жестов руками, члены семьи пришли к выводу, что срывать Марика с соревнований, на подготовку к которым истрачено столько сил, не совсем правильно. Это психологически травмирует ребенка, создаст у него комплекс неполноценности, и неизвестно, как это скажется на всем его будущем. Поэтому к довольно большому чемодану Марика присоединился еще и рюкзак, а не имеющим телефона друзьям в Харькове полетела не очень понятная телеграмма: «Умоляем внимании Марику 10-20 Лайнеры».

Получившие загадочный текст харьковчане тут же бросились на переговорный пункт. Семью представлял одноклассник дедушки Доди, старый учитель Сергей Иванович Квач. Состоявшийся между однокашниками разговор стоит того, чтобы привести его полностью.

Квач. Додя, что случилось?! Что с Мариком?

Дедушка Додя. Он попал на турнир.

Квач. Турнер? В институт? (имеет в виду Ленинградский институт ортопедии и травматологии имени Турнера).

Дедушка Додя (даже не слышавший ни о каком Турнере). Да, по футболу.

Квач. Но почему Ленинград?

Дедушка. Причем тут Ленинград? Турнир в Харькове.

Квач. В Харькове не Турнер, а Ситенко (имеет в виду Харьковский институт ортопедии и травматологии имени Ситенко).

Дедушка. Не знаю, кто такой Ситенко, но игры в Харькове.

Квач. Травму он получил в Харькове?

Дедушка. Слава богу, еще нет.

Квач. Вы хотите проконсультировать его в Ленинграде?

Дедушка. Причем тут Ленинград? Турнир в Харькове.

Квач. В Харькове — Ситенко...

Разговор мог бы долго кружиться по этому замкнутому контуру, если бы дедушке Доде не пришла мысль ввести в диалог свежие силы. Трубка перешла к Лайнеру-сыну, и обстоятельства, наконец, прояснились. Конечно, Сергей Иванович обещал заботу и внимание, а также в случае

необходимости дополнительное питание и, если будет возможно, культурные развлечения.

Несколько успокоенные Лайнеры стали окончательно готовиться к отъезду. Уж запретить им проводить Марика на вокзал не мог никто, и к поезду явилось все семейство, изрядно испугав Пушкика и ехавшего с ним в качестве представителя команды инженера ЖЭКа Александра Петровича Пустовойта. Они успокоились, только когда поезд тронулся и, медленно проезжая мимо перрона, оставил на нем всех Лайнеров, даже папу, пытавшегося преследовать вагон и демонстрировавшего с помощью жестов, что родные всегда с Мариком и что все будет хорошо.

А в вагоне, как только поезд выехал за пределы города, началась довольно странная работа, в предвиденны которой и возражал Пушкик против присутствия родителей, — началось переименование юных футболистов. До этого не могла додуматься даже Инночка Зайдман, а между тем, это было так просто: ведь на соревнования жэковских команд ехала обыкновенная жэковская команда, составленная, естественно, из мальчишек, проживающих на территории ЖЭК № 15. Об этом свидетельствовали и имеющиеся у представителя команды подлинные документы. «Никаких подделок и фальшивок в бумагах», — это было кredo Пушкика, ибо он был уверен, что все ограничивается проверкой бумажек, а с людьми можно делать, что угодно.

Но на этот раз он не мог рисковать и решил привести личный состав команды в полное соответствие с документами. Что это означало? Чрезвычайно простую вещь. Скажем, по документам в команде числился Николай Фурсов, но отнюдь не было никакого Николая Храпко, следовательно... Да, да, именно то, что вы подумали: Коля Храпко должен был превратиться отныне в Колю Фурсова, учащегося средней школы № 86, проживающего по улице Строителей, в доме № 7, квартира № 134.

Пушкик и Пустовойт настолько тщательно подготовили операцию, что почти у всех переименованных менялась только фамилия. Может быть, поэтому Пушкик так настойчиво добивался включения в «Олимпию» Марика. Ведь имелись железные документы на ученика той же 86-й школы Марата Нойберта, которого в просторечье тоже, несомненно, называли Мариком.

Так же благополучно были переименованы Сергей Снигур в Сергея Горобца, Алеша Капелько в Алешу Колодяжного и лишь Игорю Косинскому пришлось стать Кириллом Хоменко.

Надо сказать, что ребята не сразу поняли, почему они должны лишиться собственных фамилий. Последовали напористые объяснения Пушкика, как должен вести себя настоящий футболист. Почему-то получалось, что главным признаком настоящего была готовность играть в любом состоянии и под любым именем, лишь бы была польза для команды. Но ребята все равно не очень представляли, какая польза «Олимпии» от того, что Снигур превратился в Горобца. А Марик даже

позволил себе сказать: «А Лайнер лучше, чем какой-то Нойберт», на что Пушкик раздраженно воскликнул: «Какое это имеет значение!» — и опять повел речь о чести команды.

Но самым сильным аргументом являлось то, что колеса поезда постукивали, вагон покачивался и неуклонно катился в сторону Харькова. Вернуться назад было невозможно, и оставалось только изучать розданные Александром Петровичем Пустовойтом бумажки с новыми фамилиями и адресами да вспоминать о доме, где даже предположить не могли, что их сын как бы исчез, а вместо него появился какой-то подозрительный Нойберт.

В Харькове «Олимпию» разместили в школе. Койки стояли в кабинете русской литературы, и классики смотрели на юных футболистов со всех стен. Раскладушка Марика стояла под портретом Маяковского, и прямо над головой Лайнера-Нойберта горели слова поэта-трибуна: «Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет!»

А с другой стороны прямо на Марика смотрел Александр Сергеевич Пушкин, пламенно призывая: «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!»

В Харькове Пушкик завел железную дисциплину: выходить только всем вместе, ни с кем в контакты не вступать, ничего никому не объяснять и не рассказывать. Даже явившемуся в первый же день Сергею Ивановичу Квачу поговорить с Мариком он разрешил только в своем присутствии, причем, вмешивался в разговор, перебивал Марика, когда, по его мнению, тот слишком близко подходил к опасным темам.

На Сергея Ивановича Пушкик произвел самое неблагоприятное впечатление, но он подавил отрицательные эмоции, узнав, что уже завтра первая игра и тренер, конечно же, тоже волнуется.

Он бы еще охотнее извинил малосимпатичного тренера, если бы знал, что турнир проводится по принципу «проиграл-выбыл», так что каждая игра становилась решающей. Правда, он не знал и того, что Пушкик считал свою задачу почти выполненной, ибо само участие в «зоне» можно было подавать, как большую победу. Еще лучше, если бы удалось выбыть не после первой же игры. Этого было бы вполне достаточно. Уж он бы сумел по возвращении расписать соперников, которые в результате подтасовок и обмана укомплектовались чуть ли не мастерами из высшей лиги. О выходе же в финал, а тем более о победе, он и не загадывал, предпочитая не привлекать к себе пристального внимания.

В первой встрече противником «Олимпии» оказалась «Звезда» из районного города Ромны. Что она из себя представляла, никто понятия не имел. Поэтому план на игру Пушкик предложил такой: первый тайм — строгая игра в защите, никаких массированных атак, и только при самых благоприятных условиях можно провести несколько контратак через Нойберта и Фурсова, но не бросаться за ними следом и за центр поля

защитникам ни при каких обстоятельствах не переходить. Во втором же тайме тактику подскажет итог первого.

Нельзя сказать, что на игру ребята вышли в слишком боевом настроении. Скорее наоборот. События последних дней как-то не вдохновляли. Не очень зажигало и в двадцать пятый раз повторенное Пушиком: «Настоящий футболист играет всегда с полной отдачей». Как-то само понятие «настоящего» у ребят поколебалось, и уже никто толком не знал, кто настоящий — Снигур или Горобец, Лайнер или Нойберт?

Но у игры свои законы, и они действуют на ребят безошибочно, властно и покоряюще. Едва началась встреча со «Звездой», как они забыли и манипуляции с именами, и наставления Пушика. В погоне за мячом, в схватках за него пришла свобода. Ноги сами знали, что делать, а из головы ушло все постороннее. Поначалу они еще реагировали на отчаянные крики Пушика: «Назад!», выполняя его установку.

Но очень скоро стало ясно: «Звезда» — настоящая дворовая команда, к которой не прикасалась рука настоящего тренера-профессионала. Ребята просто отчаянно гоняли мяч, носились за ним по всему полю, упорно наскакивали и толкались, но никаких тактических планов у них не было и надеялись они только на то, что перебегают соперников, перетолкают их.

Первая же контратака «Олимпии» показала им: надежды эти тщетны, ибо, как быстро ни бегай, а соперники, играющие в пас, всегда обгонят тебя, и как ни толкайся, а мячом все равно будут чаще владеть те, кто умеет им владеть.

Короче говоря, уже в первом тайме преимущество «Олимпии» оказалось существенным и выразилось в счете 2:0. Голы забили Марат Нойберт и Николай Фурсов. Они же во втором тайме забили еще по голу, а пятый записал в свой актив Сергей Горобец. Как на зло, все переименованные.

Победа, конечно, обрадовала Пушика: его планы сбылись в полной мере, программа-максимум выполнена. Но победа и насторожила его: слишком легко она досталась. А если его подопечные и дальше так? Рискованно! Того и гляди заметят представители других команд, начнут выспрашивать, вынюхивать. А может, и газетчики вмешаются.

Пушк как в воду глядел. После второй победы над «Славой» из Кременчуга — и опять с крупным счетом 3:0, в харьковской молодежной газете появился репортаж некоего В.Неборака, скромненько названный: «Держись, Диего Марадонна!»

Похвалив отдельные команды (в том числе и «Олимпию»), восторженный Неборак весь свой пафос обратил на наиболее заметных форвардов, которых так не хватает в отечественном футболе. И конечно, главным героем репортажа стал забивший в двух играх четыре мяча Марат Нойберт. «Если Марат будет играть столь же результативно, — писал В.Неборак, — он сможет стать главным героем зональных сорев-

нований. Но особенно радует, что за ним — целая группа перспективных ребят, забивших не на много меньше — по два-три мяча. Интрига завязалась! Будем следить за ее развитием».

Это было первое штормовое предупреждение, и Пушкик отнюдь не проигнорировал его: на следующем матче Марат Нойберт и Николай Фурсов вообще отсутствовали в стартовом составе. А играть предстояло с харьковским «Орленком», тоже с большим преимуществом победившим всех своих соперников. На что можно было рассчитывать, заменив двух ведущих игроков на абсолютно неравнозначных запасных? Именно на то, на что и расчитывал Пушкик — на поражение.

Марику и Николаю он сказал, что им предоставляется отдых перед финалом, куда (он не сомневается!) «Олимпия» попадет. Ребята не были в этом так уверены, но безропотно отправились на скамейку запасных, куда сумел проникнуть Сергей Иванович Квач и осведомился у Марика, что случилось.

— Нездоров, — ответил за Марика Пушкик.

— Что-нибудь серьезное? — забеспокоился Квач.

— Возможно, — значительно ответил тренер, всем своим видом показывая, что он не может разговаривать с посторонними. Он был уверен, что этим нейтрализует Сергея Ивановича, не предполагая, что у того налажена постоянная телеграфно-телефонная связь с Лайнерами, работающая без выходных.

В этот день Пушкику явно не повезло. Нет, дело не в том, что в первом тайме «Олимпия» чисто проигрывала. Это как раз он считал удачей. А вот запасные самым коварным образом поломали все его расчеты. Их всего-то было три, один из них — второй вратарь. Так что, случись что-нибудь с любым игроком — и хоть вообще уводи команду с поля.

Вы, конечно, догадались уже, что именно такая ситуация и не замедлила случиться — один из новичков неудачно подпрыгнул и растянул связки в голеностопном суставе. Сильно хромая, он жалобно смотрел в сторону тренера, но тот делал вид, что ничего не произошло. Его вполне устраивало, чтобы травмированный оставался на поле: потом можно будет рассказать, как героически сражалась команда, по существу в неполном составе, и если и проиграла, то в этом виновата лишь «рука судьбы».

Но Пушкик забыл, что соревнования-то детские, и за ними наблюдают и члены оргкомитета, и ребята из горкома комсомола, и врач соревнований, наконец. Именно он вызвал по стадионному радио представителя команды «Олимпия» и потребовал заменить травмированного игрока. Пустовойт, проинструктированный Пушкиком, ответил, что менять некем. «А где же запасные?» — спросил врач. «Заболели» — ответил Александр Петрович. «Чем?» — последовал вопрос. Инструкций на этот счет по-

лучено не было, и Пустовойт брякнул первое, что ему пришло в голову: «Свинкой, кажется...»

Если бы он специально стремился подложить свинью Пушкиу, то не смог бы сделать этого более блестательно, ибо его сообщение вызвало настоящий переполох. Подумать только: вспышка эпидемии на детских соревнованиях! Да это же ЧП!

- Больные госпитализированы? — последовал грозный вопрос.
- Нет, — ответил Пустовойт.
- Где же они?
- На скамейке запасных.
- Больные инфекционным паротитом на стадионе?!

Представитель «Олимпии» не знал, что инфекционный паротит это и есть «свинка». Он хотел объяснить доктору, что у запасных очень маленькая «свинка», но доктор уже бежал к скамейке запасных, чтобы через несколько минут вернуться с Мариком и Колей и в сопровождении ничего не понимающего Пушкика.

Самый беглый осмотр убедил доктора, что никакой «свинки» у запасных «Олимпии» нет. Температура тоже оказалась совершенно нормальной. На естественный вопрос, что же у них болит, оба пациента дружно ответили: «Ничего!», хоть Пушкик усиленно подмигивал им из-за спины доктора, высывая язык и пальцем показывал на собственное горло.

- Так чем же они больны? — обратился доктор уже к тренеру.
- Так... Общее недомогание, горло... — не очень уверенно ответил Пушкик.

— Горло в полном порядке, — возразил врач и, уже обращаясь к ребятам, предположил: — Решили сачкануть? Наших испугались?

Это оскорбительное предположение Марик и Коля отвергли категорически, после чего Пушкику уже просто нечем было отбиваться от настоятельного требования немедленно заменить травмированного игрока. Скрегя сердце, он велел Коле готовиться к выходу на поле.

Но сегодня все было против Пушкика, в том числе и «закон парных случаев»: когда он, сопровождаемый врачом, вернулся к скамейке запасных, на поле уже хромал и второй футболист! Пришло заменять обоих.

Единственное, что оставалось несчастному руководителю «Олимпии» — это дать Марику и Коле строжайший приказ вперед неходить, ни на какие соблазны не поддаваться, от контратак отказаться полностью и намертво стоять в защите. Ребята добросовестно старались это делать до конца первого тайма, в котором им, правда, довелось сыграть всего 7 минут.

В перерыве, на который команды пошли при счете 2:0 отнюдь не в пользу «Олимпии», Пушкик продолжал настаивать на сугубо оборонительном варианте: «Главное — больше не пропустить!» Это следовало понимать так, что о победе не стоит и мечтать и думать нужно только

о предотвращении разгрома. Сказать впрямую: «Проигрывайте!» — Пушик, однако, не решился.

Это и погубило его окончательно, ибо ребятам и в голову не пришло, что тренер просто мечтает о поражении. Начав второй тайм, они сразу же убедились: можно не только отбиваться, но и вполне реально угрожать соперникам. «Орленок» не был слабее «Олимпии», а может, в чем-то и превосходил ее, но игра с большим преимуществом в первом тайме сыграла с «Орленком» традиционную злую шутку: они уверовали, что с этими «олимпийцами» можно играть, как говорится, одной левой, и все, включая и защитников, бросились забивать и добивать.

Что может быть лучше для контратаки? И какие бы установки ни были даны, и какие бы красноречивые жесты не делал Пушик, бегая вдоль поля, разве могли удержаться Марик и Коля, видя перед собой вольное пространство, ощущая покорность мяча и презрительную беспечность вратаря «Орленка»?

Трижды выходили Нойберт и Фурсов на ворота соперников и каждый раз имели такое преимущество перед отставшими защитниками, что могли позволить себе роскошь поиграть с вратарем в кошки-мышки. И все три раза несчастной мышкой оставался вратарь.

Только после этого «Орленок» спохватился и оттянул назад не только защитников, но и всех игроков передней линии. Только перестроиться по ходу игры — дело сложное, часто непосильное даже для мастеров. Чего же было требовать от мальчишек? Игра стала сумбурной, а «куча мала» перед штрафной площадкой — самой популярной комбинацией. Фланги соблазнительно обнажились, и этим еще дважды воспользовались герояи «Олимпии».

Пушик схватился за голову: это был провал. Ведь у проклятого Лайнера-Нойбера теперь на счету 7 голов! Он лидер. Начнутся разговоры, интервью... Что делать? Что? Вызвать Лайнера, чтобы забрали своего сынка? Так они тут такого гвалту наделяют, что все станет только еще хуже... Или отправить его немедленно с Пустовойтом? Да, наверное, это лучше всего — сегодня же домой. Хватит с него этих штучек!

Увы, Пушик не знал, что от его решений уже практически ничего не зависит. Ведь Сергей Иванович Квач уже позвонил Лайнераам, а Софья Исааковна тут же сообщила о болезни Марика сыну, и Лев Давидович, даже не заходя домой, помчался на аэродром...

Между тем события на харьковском стадионе разворачивались стремительно. Минут за 15 до окончания матча, когда исход его не вызывал никаких сомнений, к Пушкиу примчался испуганный Пустовойт и громко зашептал в тренерское ухо: «Копает кто-то под нас! Вызывают меня в мандатную комиссию — подставы ищут».

Надо отдать должное Пушкику — он не растерялся. Решение пришло мгновенно: «Не одного Лайнера, а всех, всех обладателей новых имен

надо немедленно отправить домой! Пусть потом доказывают. Документы ведь в полном порядке, а людей нет, так и суда нет».

Изложив свой план Пустовойту, он отправил его в общежитие и велел быть готовым к немедленному отъезду, отлету, отходу, словом, бегству. Ребят он приведет сам, и немедленно, немедленно — «нах хаузе». Пустовойт что-то хотел спросить, но Пушкик предвосхитил его вопрос: «Денег не жалеть! Финансовые расходы беру на себя!»

Тренер и представитель даже не глянули на поле, где как раз победно для «Олимпии» завершился матч. Нестройной толпой уходили в раздевалку игроки «Орленка», еще не сознавая, что это конец, и не понимая, как это произошло.

Высоко подняв головы, уходили с поля «олимпийцы». Какая-то девчонка протиснулась сквозь толпу и вручила застеснявшемуся Марику букет цветов. Кто-то похлопывал ребят по плечам, произносил какие-то слова...

Здесь же в толпе болельщиков, увешанный диктофонами и фотоаппаратами, поджидал героев и спортивный комментатор молодежной газеты Владимир Неборак. Он безошибочно выхватил из команды свои жертвы — Марику и Колю. «Всего несколько слов, — успокоил он, увидев их испуганные лица. — Всего пару слов для прессы».

Но разговорить смущенных героев оказалось очень сложно. Они не могли дать оценку прошедшему матчу, а о своей игре упорно говорили только так: «Он дал, я прошел и стукнул...»

Видя, что разговор не получается, газетчик решил зайти с другой стороны:

— А как ты учишься? — спросил он у Марики.

— Уже лучше, — ответил лидер соревнований.

— Значит, были проблемы? — засмеялся Неборак. Мариик только кивнул. — А как родители относятся к твоему увлечению футболом?

Мариик пожал плечами:

— Ничего, теперь уже ничего. И тетя Инна за меня.

И почему он только упомянул о тете Инне? Уж она-то была тут совершенно ни при чем. Но именно за нее и ухватился Неборак, чувствуя, что ему удается, наконец, разговорить Мариика:

— Это какая тетя Инна?

— Зайдман.

— Мамина сестра?

— Нет, жена маминого брата.

— Значит, мамина девичья фамилия — Зайдман?

Мариик не знал, что такое девичья фамилия, но на всякий случай кивнул. И тут, как это бывает у газетчиков, Неборак задал совершенно не относящийся к делу, даже глупый вопрос:

— А сейчас как мамина фамилия?

— Лайнер, — не задумываясь, ответил Марик. Коля дернул его за Майку, но Марик не понял намека, вернее, он вспомнил, что его фамилия в Харькове — Нойберт, но разве, если пришлось поменять фамилию ему, то же самое нужно сделать и родителям? Поэтому он со спокойной совестью ответил «да» и на следующий вопрос почуявшего какую-то сенсацию газетчика:

— А папина фамилия тоже Лайнер?.. Так... И ты тоже станешь Лайнером, когда вернешься домой? — ласково спросил газетчик. И Марик в третий раз ответил: «Да!»

Надо ли продолжать? Надо ли живописать все последовавшие скандальные разоблачения, снятие «Олимпии» с соревнований с ликвидацией всех ее предыдущих результатов, с решением сообщить куда следует о поведении тренера Пушкика и обманутых ребят?

Наверное, не стоит. Тем более, что наш герой, как настоящий счастливчик, обо всем этом узнал гораздо позже и не в таких убийственных выражениях. Удалось ему избежать и гнева Пушкика, который готов был в наивности Марика видеть предательство.

Именно в тот момент, когда разъяренный Пушкик готов был разразиться страшными проклятиями, на какие только способен человек, проигравший в рулетку все свое состояние, на стадионе в сопровождении Сергея Ивановича Квача появился Лев Давидович Лайнер. Марик бросился к отцу, прижался к нему и долго не поднимал головы, а когда поднял, щеки его были влажны, но глаза смотрели ясно и открыто, как у настоящего счастливчика, уверенного, что жизнь никогда больше не обманет его.

Дора Хайкіна

*Пропонуємо в нових перекладах з ідіш
два вірші відомої єврейської поетеси Дори Хайкіної.*



Чернігів — моя то столиця дитяча,
А мати моя в ній, немов королева.
І пам'ять це все зберігає, неначе
У вітах себе зберігають дерева.
Це все залишилось у мене надовго.
Здавалось в дитинстві: Десна неозора,
Широка, неначе Дніпро а чи Волга,
І навіть безмежна, глибока, як море.
Це все залишилось надовго у мене,
І досі воно ще живе в моїм серці.
А берег у воду дививсь — наречена
Отак разглядає себе у люстерці.
Той берег здававсь для дитячого ока,
Коли понад ним підіймалася хмара,
Таким, як гора, романтично-висока,
Неначе Монблан а чи Кіліманджаро.
І навіть сріблялася сніжна вершина,
Така, як здіймається понад Кавказом.
Здавалась казковим палацом хатина,
Де ми бідували із мамою разом.
Чернігів — моя то столиця дитяча,
А мати моя в ній — немов королева.
І пам'ять це все зберігає, неначе
У вітах себе зберігають дерева.

Переклав Абрам Кацнельсон



Постріл не лунає
В Бабинім Яру —
Там печаль блукає.
І шука журу.
Мертві там глибоко,
Але глибший біль.
Пада лист звисока,
Наче лист звідтіль...
Мов листи убитих,
Ці з дерев листки.

На катах неситих
Кров горить віки.
Попіл в нетерпінні
Зїв пісок лихий...
Бачу: ходять тіні,
Чую: шум глухий.
Яр їх поглинає
В пашу ту стару...
Постріл не лунає
В Бабинім Яру.

Переклав Іван Драч

Рива Балясная

*Три стихотворения известной еврейской поэтессы
Ривы Балясной публикуем в новых переводах с идиши
Риталия Заславского.*



Люблю бродить, когда вокруг туманы
и голоса лягушечьи так странно
доносятся со стороны пруда,
брожу, пока мелодия без слова
не уведет меня куда-то снова
и в этот раз, как в прошлый, навсегда.

О, как мне боль словами обозначить,
дать имя ей,
а то она иначе
утратит смысл и превратится в зло.
А так — внезапно, воплотившись в слове,
пройдет, как яд лекарственный, по крови,
и станет мне спокойно и тепло.



... И пускай мои губы от боли свело —
все равно улыбаюсь легко и светло.
И в кармане моем иногда ни гроша —
улыбаюсь: вы видите — жизнь хороша!
Пусть раздавлено сердце — твержу: не беда! —
все равно улыбнуться стараюсь всегда...
Но когда лучший друг улыбнется врагу,
как ни силюсь я, слезы сдержать не могу!

ЧИТАЯ ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК

Не из пены морской возродиться хочу,
а из пепла, из серого пепла.
Я еще улыбаюсь
и даже шучу,
как ни кажется это нелепо.
На песке отпечатки точны и ясны.
Каждый шаг —
след кровавый и липкий.

Через тысячу лет
в вашу жизнь, в ваши сны
мои слезы войдут
и улыбки.
Вы увидите пламя
потухших печей,
вы услышите голос
с хрипотцей,
и петля,
захлестнувшись на шее моей,
и на вашей на миг захлестнется.
Все смеется вдруг:
и заря, и закат,
позабудутся
даты и сроки...
Как глаза,
удивленные звезды глядят
на мои побледневшие щеки.

Мирослав Маринович

Друкуємо «Відкритий лист до газети «За вільну Україну» відомого правозахисника, філософа і громадського діяча Мирослава Мариновича. На жаль, актуальність послання в Україні не зменшується.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «ЗА ВІЛЬНУ УКРАЇНУ»

Мій лист не принесе редакції особливої радості, але, на жаль, інколи доводиться висловлювати людям прикірі для них речі. Намір написати цього листа був давно, проте його пересилювала надія, що редакція сама знайде в собі сили перебороти «дитячу хворобу юдофобії» і поступово звільнить шпальти газети від примітивно-рефлекторного осмислення цих проблем. На жаль, цього не сталося, і тому я не заходжу ніякого іншого виходу, як заявити редакції свій читацький і громадянський протест.

Зрозуміло, що останньою краплею була стаття Миколи Стефанишина «Ніяких крематоріїв і газових камер в «Освенцимі» не було!» («ЗВУ» від 17.06.95) і подальші відгуки редакції на неї, хоч список інших статей газети, які заслуговують на докір, міг би зайняти чимало місця. Я не знаю автора статті, який, очевидно, є людиною похилого віку, й не можу відповідним чином оцінити, наскільки адекватно він відтворює обставини своєї юності. Зрештою, кожна людина має право на якісь переконання, за які лише вона і ніхто інший буде відповідати перед Господом. Інша річ — позиція редакції, за яку вона несе відповідальність ще й перед суспільством.

Газета не може бути місцем, де озвучується **все**, що спаде на гадку нашим стурбованим міщенам (як рівно ж і її кореспондентам). Для мене, наприклад, є самоочевидним, що Сонце обертається довкола Землі, — я бачу це щодня. Я можу мати навіть глуху підозру, що свого часу Коперника і Галілея підкупила якась «жидо-масонська мафія». Але коли редакція опублікує ці мої «відкриття», вона розпишеться у повній своїй неспроможності. Саме це й сталося з газетою «За вільну Україну» тепер.

Хай дарують мені читачі, але якось навіть незручно полемізувати з автором статті. Неможливо всерйоз доводити існування величезних втрат євреїв (прошу редакцію надрукувати це слово саме так — євреїв) у Другій світовій війні, посылатися на документи, фотографії, — зрештою, на свідчення самих нацистів. Неможливо услід за автором статті і працівниками редакції, відповідальними за публікацію, приглядатися до жертв, наскільки вони виснажені й зголоднілі. Неможливо торгуватися, скільки саме мільйонів євреїв загинуло від рук фашистів чи їхніх поплічників. Є речі, про які можна говорити лише з певної моральної висоти або не

говорити взагалі. Жаль, що цього не знає автор редакційного коментаря до згаданої публікації.

Я не знаю, який внутрішній злам стався в газеті, яка була свого часу світочем українського відродження. Можу лише зі здивуванням і докором констатувати, що від багатьох (хоч і не всіх) статей на тему міжнаціональних стосунків, особливо якщо вони стосуються євреїв, росіян чи поляків, від ворожнечею, підозрами, якими недобрим бажанням висміяти, образити, відплатити «оком за око». І це все видається як народозахисна позиція, як новітня й смілива модель захисту національних інтересів українців?! Однак для більшості українців такі підходи є категорично неприйнятними, і я вважаю за потрібне озвучити це їхнє неприйняття.

На превеликий жаль, нема такої ідеї, до якої не «прилипло» б людиноненависництво. Прилипає воно навіть до найчистішого релігійного вчення, тож не дивно, що «обрастає» ним і національна ідея. Проте людиноненависництво, ксенофобія, відламом якої є юдофобія й антисемітизм, завжди свідчать про **виродження** ідеї, про неспроможність стурбованої свідомості знайти адекватний вихід із складної супільної ситуації.

Ні я, ні мої друзі не можуть миритися з тим, щоб українська національна ідея постала перед світом в тому тьмяному фосфористичному світлі, яким вона підсвічується в окремих статтях часопису «За вільну Україну». Інакше слова, винесені в назгу газети, так ніколи й не набудуть спасенної доконаності, залишаючись надовго у своїй закличній формі. Справді новітня, цивілізована і справді смілива модель українсько-єврейських стосунків була витворена й випробувана в брежнєвських концтаборах, і вона нам надто дорога, щоб ми шукали собі прихистку в ненависті і помсті. Спільна табірна голодівка Івана Світличного й Семена Глузмана за спільне право бути Людиною була, окрім іншого, спокутуванням за не свою вину — за невитравну українофобську орієнтацію частини євреїв і за юдофобію тієї частини українців, яка зуміла **не побачити** в Освенцимі газових камер.

Як це не дивно прозвучить, але згадана публікація ображає українців навіть більше, ніж євреїв. Для останніх це лише один прояв безумства людей, засліплених ненавистю. Для українців, натомість, — це велике приниження і ганьба. А також — важливе попередження. Напередодні 50-ліття перемоги над фашизмом у Дрогобичі зловмисники двічі нападали на синагогу, ламаючи меблі, шматуючи все, що потрапляло під руку. Я не знаю, хто керував тими нападниками, але в мене немає сумніву, що серед їхніх ідейників натхненників — хотіла вона цього, чи ні — опинилася й редакція газети «За вільну Україну».

Не можна не відзначити й іншого: подібні публікації — це знахідка для всіх різномасних ворогів України. Я радив би редакції без усякого мудрування підрахувати, скільки читачів вона має і скільки глядачів має, для прикладу, відома Вам американська телепередача «60 хвилин», яка недавно так спалюжила всіх українців. То невже редакція «За вільну

Україну» взялася постачати її аргументами про наш антисемітізм? Невже Ви справді вірите, що своїми статтями Ви прихилите на свій бік світові засоби масової інформації? Що ж, Вас справді цитуватимуть, але в якому антиукраїнському контексті!!

Якби я був щефом московського КГБ, я вважав би публікацію анти-семітських матеріалів в українській пресі **найкращим** вкладенням капіталу для дискредитації України. Свого часу, на зорі нашого відродження, кагебісти зі шкіри пнулися, щоб зіштовхнути між собою два наших народи, вивішуючи гасла типу «потопимо москалів у жидівській крові». Тоді не вдалося, тоді ми вистояли. То чи не взялася тепер газета «За вільну Україну» довбати той мур, у якого не вдалося забити московський чорносотенний лом?

Хто сіє зерна ненависті, той пожинає ще більшу ненависть — такий закон нашої земної Долини печалі. Ні, не просвітиться і не просвітлє український народ від подібних публікацій. Ними можна лише підняти з темних глибин душі чорну хвилю зла, що ховається, приспане, у кожній земній людині. Покладати надію на ненависть, на ворохобну жадобу помсти — це означає включити програму знищення Любої, знищення того вогнища свободи України, який ми сьогодні просто зобов'язані захистити. Натомість високе будеться тільки на смиренні й любові — саме про це ми слухаємо щонеділі з церковних амвонів. Слухаєм, але не чуємо...

Отож, цим листом я хотів би оборонити не так євреїв, як передусім нас, українців. Захистити від клекоту злості у серці; від сваволі мстивого розуму, позбавленого віри; від сліпоти тих, хто дозволяє собі кепкувати навіть над найсвятішим для нас — Біблією, ставлячи слова «вибраний народ» у зневажливі лапки. Я не маю сумніву в тому, що не всі євреї гідні своєї богообраності. Але історія не раз показала, що у Бога своя розмова з вибраним Ним народом. А нам, замість намагатися вставити поперед Господа своє куценьке слово, варто було б вгамувати гординю і помовчати. Тим більше, що нам давно вже пора замислитися над тим, якою зухвалою мовою говоримо з Господом ми самі. Проти Бога піднімали руку не тільки комуністи, яких ми, начебто, так не любимо. Проти Бога піднімає руку кожен, хто, вслід за ними, зрікається Любої і віддає свою душу Князеві Темряви.

Я вірю, що немудра юдофобія газети «За вільну Україну» не буде прикладом ні українцям загалом, ні галичанам зокрема. Ми маємо крашу модель стосунків з євреями — модель, яку явив нам світоч Галичини — митрополит Андрей Шептицький. Кожен, хто читається в прекрасні сторінки «Дванадцятьох листів митрополита Андрея Шептицького до матері», серцем відчує, що, на відміну від згаданих публікацій у «ЗВУ», тут усе справжнє — і людинолюбство, і християнство, і патріотизм.

Семен Журахович

Семен Журахович — відомий український письменник — належить до того покоління митців, яке бачило всі чи майже всі злами і перевороти нашої новітньої історії. Йому притаманне гостре відчуття сучасності, що знаходить відбиток в його творчості.

ОПОВІДАННЯ БЕЗ НАЗВИ

Скільки можна думати, згадувати, перебирати день за днем, рік за роком, хвилюватися, радіти, витирати неждану сльозу, заспокоювати себе, щоб за якусь мить відчути давкий камінець у горлі?

Кінець кінцем, що тут надзвичайного? Так, певно, буває з кожною матір'ю. Особливо з тими, в яких один-єдиний син, а самі вони — мами — ще почиваються молодими. Бо тільки сорок із гаком, рано озиратися і, загалом, як кажуть люди, ще не вечір. Кожній матері, мабуть, смішно дивитися на перші вусики двадцятирічного Сашка. Дитина! Та ось якогось дня громом із ясного неба звучать тихо вимовлені слова: «Значить, мамо, так... Ми з Юлею вирішили одружитися». Він стоїть перед нею трохи зняковілій, та голову, як у півника, задерто вгору.

П'ять-шість слів. І ні вдихнути, ні видихнути. «Ми вирішили...»

— Сашо, — вихопилося нарешті, — ви ще тільки вчитеся!

— Ну і що? — В захриплому голосі нотка незалежності. — Маємо стипендії.

— Хіба я про це? — образилася мати. — Ми з батьком завжди ладні віддати тобі все.

Сашко здогадався зробити найрозумніше за такої ситуації — обняв і поцілував.

— Мамо, я знаю... Хіба я про гроші і все таке? Зрозумій, ми дорослі люди. Все обдумали й вирішили. Ну, що з тобою?

Вітер мамині сльози й поцілував у вічі.

— Мамо, ну чого ти? Інші радіють...

Ні, іншим теж, мабуть, першої хвилини несила стримати сльози. А потім... Що потім?

Сашко. Сашок. Сашунчик. Хлопчик-горобчик. І така несподіванка. Якою буде йому ця Юля? Нічого не скажеш: ладна, гарна і немовби добра. Коли забуває про присутніх, дивиться на Сашка закоханими очима. Але в тих же очах, коли позирає на неї, Сашкову маму, щось насторожене, щось, щось... Не могла злагнути, що в тому погляді. Може, побоювання майбутньої невістки: «Яка ж у мене свекруха буде?»

До чого ж огидне слово! В самому звучанні щось принизливе.

Так, мабуть, переживає кожна матір. А може, й не кожна... Може, це тому, що тобі тільки (ох, хіба це тільки?) сорок три? Люди кажуть —

друга молодість. Але такого дня син із своєю Юлею несподівано кладуть на плечі ще п'ять, — де там! — ще десять років.

Та що це вона про себе, про себе. Нехай синові щастить. Притиснула руки до грудей й молитовно прошепотіла: «Тільки люби нашого Сашка, бережи його, і ти станеш нам рідною дочкою».

Але вголос ці слова сказати Юлі не наважувалася. Щось незрозуміле в тих очах стримувало. Згодом, згодом.

Чоловік, виявляється, вже знав.

— А в нас, Іронько, ще зранку була розмова. «Як мужчина з мужчиною...» Так почав Сашко свою історичну заяву. — Огієнко засміявся й цмокнув дружину в щоку. — Я і сам... — Він зітхнув, розвів руками. — Молоде-зелене. Та що вдієш? Забороняти? Вмовляти? Хе-хе, дуже воно ниньки впливає.

Слухала і кусала губи. Чоловіки, вони завжди товстошкіріші. Міг би подзвонити їй на роботу. Міг би прибігти схвильований. Не прибіг.

Ось і зараз стоїть, хоч милуйся ним, стоїть — усміхається.

— Молоде-зелене... А з другого боку, Іронько, як глянеш на отих тридцятирічних бородатих холостяків, що розгулюють з розфарбованими дівками... То краще нехай замолоду. Дівчина вроді серйозна. І він у нас не вітрогін. Поживе там, ще серйозніший стане.

— Там? — зблідла Іра. — Там?

Кинувся до неї, бо аж поточилася.

— Як ти мене налякала! — вигукнув сердито, але теплі руки пригорнули ніжно. — Зрозумій, в них три кімнати. Де зручніше? Не про себе ж маємо думати?

Іра ствердо хитнула головою. Звичайно, не про себе. Відсторонилася й гірко вимовила:

— І це без мене вирішили.

— Ну, Іронько... — зітхнув. — Сядь, будь ласка, і поміркуємо спокійно.

І для нього це разюча несподівanka. Гадав, після інституту... А терпцю, бачиш, не вистачило. Що вдієш? Лишається сприйняти все реалістично. Так само і з квартирю. У нас дві, тісненькі, а там три кімнати. Одна дочка... — Помовчав. — Мені й самому неприємно. Виходить, син у прийми йде. А що зробиш? Згодом, підуть працювати, разом із сватами на кооперативну квартиру стягнемося.

Справді, все нормально. Син одружується, — кого цим здивуєш?

Тимофій розтлумачив усе як слід. Він і спить — ось поряд — розсудливо й реалістично. А я — мати, мати... Все життя, прожите досі, стиснулося в ці три-чотири години, що минули після Сашкового «ми вирішили». Роки промчали вихором. Ще ж так недавно купала його в маленькому дерев'яному коритці, що його привезла з Калинівки тітка Мотря. А перші його кроки від ліжка до стола. А перше слово — смішне «бу-бу-бу», що означало десятки різних речей.

Тихенько скліпнула.

— Спи, Іро, — сонно промурмотів Тимофій. — Життя мудріше, ніж наші мудрування...

— Боюся, чогось так боюся...

— Вигадуеш собі страхи. Спи!

— Ой, Тимошо, не спиться, — присунулася близче. — Як йому там житиметься? А ми тут — без Сашка. Страшно.

— Ти як маленька. П'ять зупинок, зовсім близько. Скільки люду на масивах живе? Годину добираються, та ще трьома транспортами. А є такі, що майнуть кудись, за тисячу верст...

Все правильно. Тільки тривога на душі. І холодно.

— А ще... Виходить, старімо, Тимошо?

Це прозвучало з такою наївною жаліслівістю, що Тиміш засміявся:

— Таке скажеш! Яка старість? Ми ще...

— Ми, ми... Промине рік — і оголосять нас дідусем та бабусею, — сміялася й плакала разом. — Ось тоді...

— Сто разів нехай оголошують, а ми з тобою молоді.

В темряві ледь світилося його усміхнене обличчя. Заплющила очі й притулилася щокою до трішечки колючої щоки. Відчула м'які дотики його губів на кутиках рота, на шиї. Тверда долоня легенько стиснула їй груди, рідна долоня, — і вже теплом огорнула все тіло.

— А бабуся ще нівроку, — прошепотів.

— Ах ти ж, хулиган!

Тихо клацнув замок. Прийшов Сашко.

— Спи! — ледве чутно видихнув Тимофій.

Та ще довго не могла заснути.

Вранці під час квалівого чаювання Тимофій сказав:

— Колись був такий добрий звичай: батьки нареченого й нареченої зустрічаються — знайомляться. Чи тепер це не модно?

— Модно! — стверджив Сашко.

— То нам чекати запрошення? — спитав батько. — Чи навпаки?

— Мені здається, — сказала мати, — що спершу нам треба покликати сватів.

— Мамо, ти геній! — Сашко підскочив і театрально вклонився. — Нехай знають: мужчина — глава сім'ї.

— Мужчина! — хмикнув батько. — А молоко на губах?..

— То, може, на наступну неділю? — вже заклопотано спігтала мати.

— Чудово!

Сашко скопив портфель і побіг.

— Треба так, щоб не осоромитися, — подумала вголос.

— Ну, щодо цього я спокійний. Таку майстриню, як ти, хоч на всесоюзний конкурс кулінарів.

— А по крамницях попобігати?

— Допоможу. І Сашка запряжі. Ледаркуватий...

Готуватися до зустрічі з Юліними батьками почала ще напередодні.

Вміла і любила добре зварити, засмажити, спекти. Час од часу вигадувала щось нове, ще смачніше. Коли це робиши для рідних-лююих, не важко постояти зайву годину біля плити чи недоспати. Дім є дім. А двоє мужчин — удвічі більший клопіт. Тимофій, правда, допомагає. А Сашко вдома справді ледаркуватий. Молодий! І з дівчиною погуляти, і в театр, і на лижі... Зате вчиться добре.

«Чи вміє Юля хоч картоплі насмажити? Миле дівча, нічого не скажеш, але чому вона так дивиться на мене? Не бійся, дитино, я не буду свекrhoю. Тільки люби мою сину.»

Змалку Сашко жодного дня не міг без матері. Скільки сліз бувало, коли дитячий садок виїздив улітку на дачу! До піонерського табору виряджала, обціловуючи заплакане обличчя. «Ти вже великий, он хлопці дивляться...»

А тепер має йти в чужу сім'ю. Нехай не в чужу, в іншу. Отак часом починають рватися кревні ниточки... Як нелегко буде вимовити: «Не забувай нас, прихόдь...»

Під час сніданку Іра сказала:

— Покличемо на весілля бабу Мотрю.

Сашко скривився:

— Ой, мамо, навіщо ці сентименти?

Батько глянув на нього строго й докірливо:

— Не забувай, що Мотря Кіндратівна врятувала твою маму.

Сашко промовчав.

Мотря Кіндратівна — солдатська вдова — доживала віку самотою в старій хаті з почорнілою стріхою на краю Калинівки біля гуркітливої шосейної дороги та ще гуркітливішої залізниці. Це тепер вона — зігнута сива бабуся, а Іра пам'ятає її ставною чорнявою молодицею поряд із сімнадцятирічною дочкою Оксаною, — милою, доброю, співучою Оксаною. Як же їм до душі й до лиця було чудове прізвище Добривечір! Після восьмого класу Оксана жила в родині дядька у Вінниці, вчилася в технікумі й була улюбленою ученицею Іриної матері Белли Наумівни, що викладала математику. На початку червня сорок первого року Оксана, їдучи на канікули, впросила Беллу Наумівну, щоб дозволила взяти семирічну Іру на гостини до Калинівки.

Через два тижні почалася війна.

Оксанин батько й старший брат пішли на фронт. Якась жінка з Вінниці забігла на хвилинку й переказала, що Ірин батько теж на фронті, а Белла Наумівна завтра приїде. Село повнилося розповідями про згорілі машини і забитих людей на дорогах. Коли на станції чулися вибухи й під саме небо рвалося полум'я, тітка Мотря хапала Іру й бігла притисном до погреба. Ще трохи — і в самому селі почалася стрілянина, загуркотіли танки, а спідом запала страшна тиша, і тітка Мотря, сполотнівші, вимовила:

— Фашисти.

Іру з хати не випускали, фашистів вона не бачила. Почувши якось люте гавкання, кинулася під ліжко і звідти бачила, як до хати зайшов злий чоловік з пов'язкою на рукаві: він гримав на тітку Мотрю й, розмахуючи гвинтівкою, погнав Оксану лагодити зруйновану залишницею. Інколи Оксана — почорніла, в забрудненому одязі — прибігала по харчі. «Вб'ю гада, — люто кричала вона, — і втечу до партизанів». Тітка Мотрю, плачучи, благала: «Мовчи!»

Кожного дня Іра питала: «Коли ж прийде мама?» Чула, як одна жінка казала, що вже поїзди пішли. «То вже скоро?» Тітка Мотрю, опустивши голову, мовила: «Скоро». Хто міг думати, що й поїзди тепер не на радість, а на горе. Якоїсь чорної днини Оксану разом із іншими калинівськими дівчатами та хлопцями заперли в «телячих» вагонах. Тітку Мотрю і інших матерів поліцай з лайкою, б'ючи прикладами, гнали від станції. Та вони рвалися до поїзда, що вже рушив аж до Німеччини, і розpacливо кричали і дряпали собі обличчя.

А вдома Мотрю ані пари з уст. Мовчки довго дивилася на Іру, аж поки та, перестрашена, починала плакати. Мовчки поралася біля печі. Мовчки насипала борщу в миски, тикала пальцем: «Їж!» І сама їла повільно, знехотя. А за кілька днів тітку Мотрю знов щось налякало до смерті. Схопила Іру за руку — і бігом, бігом через городи, через ліс на далекий хутірець: «Тату, — сказала бородатому дядькові, — нехай дитина поки що буде в тебе!» Іра плакала, не хотіла лишатися з бородатим дядьком: «Я поїду до мами». Тітка Мотрю важко дихала, бо якийсь шмат дороги несла Іру на руках. «Нікуди ти не поїдеш. Таких, як ти, вбивають». — «Яких?» — не зрозуміла Іра. «Таких...» Тітка Мотрю опустила голову. «А мама?» Тітка Мотрю мовчала. «А Борисик?» Так звали маленького братика, який ще й ходити не вмів, смішно повзував, наче ведмежа. «Борисик?..» — перепитала тітка Мотрю, не підводячи очей. Але тут бородатий дядько гримнув на неї: «Помовч!»

Згодом тітка Мотрю знову взяла її до своєї хати. І знову приходив злий чоловік із гвинтівкою (Іра вже знала, що це поліцай), тикав пальцем і кричав. Тітка Мотрю затуляла Іру і тільки повторювала: «Не чіпай дитини!». А потім ухопила сокиру і закричала так, що Іра впала й затрусилася в пропасниці. «І мене вбивай, — лементувала тітка Мотрю, — і мене! Тільки знай: цією сокирою тобі голову разрубають».

Поліцай плюнув і пішов.

А вони, припавши одна до одної, плакали, аж поки в хаті не стемніло. І вже стало лячно навіть плакати.

Багато чого зрозуміла Іра за два роки окупації. Дізналася вона й про те, що означають слова «таких, як ти, вбивають».

Війна знову прогриміла над Калинівкою й рушила на захід, але й звіддалік долинала вбивчими звістками. Перша похоронка — загинув Степан Петрович Добревечір, чоловік тітки Мотрі, Оксанин батько.

Друга похоронка — загинув Петро Степанович Добривечір, син тітки Мотрі, Оксанин брат. А вже в останні дні війни повернулися дівчата з фашистської неволі й розповіли, що Оксану, коли втретє тікала з табору, наздогнали вівчарки.

Іра так ніколи й не довідалася, в якій ямі, в якому протитанковому яру було присипано піском чи глиною розтерзані тіла матері й Борисика.

Похоронку на батька зберегли й віддали їй сусіди з вінницького передмістя вже пізніше, коли вона прибула до міста вчитися і працювати.

Отак скінчилася війна. Мало не кожного вільного дня і кожної відпустки Іра приїздила до тітки Мотрі, привозила гостинці. Тітка Мотрі вдавано сердилася, кожну річ розглядала на світло: «Навіщо такі гроші...» Від'їжджаючи, Іра, так само, як уперше, плакала, але в місті її завжди зігрівала думка: є на світі рідна душа.

«Мамо, навіщо ці сентименти?» — буркнув Сашко.

Невже забулося, яким щастям для нього була кожна поїздка до бабусі Мотрі? Вистрибував, грався з Рябком, лазив на дерева, купався в ставку. І з ранку до вечора — сміх, мов дзвіночок. А з яким радісним зойком кидався до бабусі, коли вона сама — завжди несподівано — з'являлася на цьому порозі зі своїм чарівним кошком.

Тимофій приніс оселедці, баночку крабів і — розплющуй, жінко, очі! — баночку червоної ікри. «Звідки?» Тиміш сміявся: «Звідки ж таке дістають? З-під землі...»

Отже, акуратно порізані оселедці з кружальцями цибулі. Салат із крабами. Вінегрет з зеленим горошком. А ще салат «власної фірми» з шести компонентів, на який Тиміш усе радив їй віправити патент як на винахід державної ваги. А ще холодець. Грибочки. Фаршировані яйця.

Тимофій, мов бджола, літав туди-сюди, щоразу з якимось трофеєм. Квашені помідори. Зелена цибуля. Мариновані огірочки. Не товстопузі жовтяки з діжки, а справжні ніжинські.

Сашко тягав сітки з мінеральною водою, з пепсі-колою, що нею Іра гидувала: «Милом тхне».

На гаряче курчата-табака.

І нарешті — торт. Особливий. Ірин.

На сніжно-блій скатертині височили дві пляшки — горілка й сухе вино, — оточені кришталевими келишками і гранчастими фужерами. Картину завершували вогнисті жоржини в мальованому опішнянському глечику.

Іра озирнулася навколо. Все? Здається, все.

Чоловік і син стояли біля вікна, вже святково одягнені. Розгледіла в Тимофієвих очах сум і навіть тривогу. Сашко, стиснувши губи, вдивлявся в сутінки. Такий день! Переборюючи спазм у горлі, всміхнулася:

— Хлопчики мої рідні... Якби ви знали...

Не договорила й пішла до спальні переодягатися.

Звичайно, втомилася. Стільки клопоту! А попереду ще кілька годин неминучих хвилювань. Зустріч-знайомство з невідомими людьми, що віднині мають стати родичами. Що за люди?

Власне, не від роботи, завжди все робила залишки і швидко, — від думок стомилася. Нескінченна стрічка тягнулась у голові: «Якою буде ця Юля моєму Сашкові? Як житиме в тій сім'ї і яка вона, та сім'я?»

За кілька кроків стоїть син і вдивляється — не у вікно — в свій завтрашній день. А батько дивиться на сина...

Та зараз не час і несила було дати хоч якийсь лад сум'яттю думок і запитань. У Тимофія була улюблена примовка: «Життя розумніше, ніж ми, воно своє покаже». Але й це не відповідь. Чи воно й справді таке розумне і що саме покаже?

Долинули стишені голоси, чоловік із сином про щось перемовлялися. Всміхнулась: «Як мужчина з мужчиною». Так повелося змалку. Чи скаржився батькові на сусідського Мишка-розвищаку, чи випрошував ковзани або лижі, а згодом джинси, — хапав батька за руку й тягнув до другої кімнати на «мужчинську» розмову.

Знову долинуло шепотіння, і вже нервове, ламким голосом Сашка:

— Ти скажи...

— Чому я? — промурмотів чоловік. — Твоя справа.

Іро глянула в люстро. І зачіска вийшла гарна. Все? У власних очах бачила і причаєний сум, і втому. Але це могла розгледіти тільки близька людина. А для всіх — у неї святковий вигляд і святкова усмішка на ще молодому обличчі.

З такою усмішкою й постала в рамі дверей, одкинувши портьєру.

— Про що ви тут шепочтесь, мужчини?

Сашко, почевонівши, втупився поглядом у підлогу.

Тимофієве обличчя пересмикнулося, не повернувши голови, сердито дивився на сина.

— Трохи відпочину, — сказала вона, сідаючи в крісло. — А ваші секрети, може, відкладемо на завтра?

Сашко сіпнувся, глянув на батька й знову схилив голову.

— На завтра, Іро, відкладати не можна... — Кожне слово Тимофій видушував з себе, немовби воно дряпало йому горло.

— Не можна, то кажи.

Вона дивилася то на сина, то на чоловіка.

— Розумієш, Іро. Одруження — діло серйозне. Я вже подумав, чи не рано нашому... Бо в тій сім'ї...

— Нічого не розумію. Що, її батьки проти?

— Та ні. Чого ж проти? Юлин батько, видно, порядна людина. А от його майбутня теща, — тицьнув пальцем у бік Сашка, — мабуть, міщанка з міщанок. Пережитки. Дурні упередження. І всяке таке...

— Мабуть, я дурна, бо нічого не втямлю.

Тимофієве обличчя збагровіло.

— Ну, кажи! — кинув лютий погляд на сина.

Новісінський попелястого кольору костюм, біла сорочка з вузеньким модним галстуком зараз ніяк не личили до безбарвного виду й безпопрадно-скособоченої постаті Сашка. Мовчав.

— Бачиш, — сказав за нього Тимофій. — Його майбутня теща — нервова особа... Згодом вони побачать і зрозуміють, яка ти... Як ми тебе любимо. Сашко не хоче, щоб перша зустріч була чимось затъмарена.

— Отже, сьогодні краще без мене. Так? Щоб не затъмарилось?..

Напружену дивилася на них. Мовчали.

— Iро, заради Саші...

— Так, так... А що ви їм скажете? — Занімілі, як від анестезії, губи ледве ворушилися.

Тимофій розвів руками:

— Ну... Терміновий виклик. У лікарні в тебе тяжко хворі... А ми пояснимо...

Стояла, прикута до місця. Їй здавалося: ступне крок — упаде.

— Тут...

Не договорила й пішла до спальні. Чути було, як грюкнули дверці шафи. Рухаючись, мов сновида, вийшла — вже в буденній сукні — до передпокою. Взулася, одягла пальто, кинула на плече хустку. Ступнула до дверей, але чомусь ізнову зазирнула до кімнати. Під яскравим світлом люстри стіл виблискував і красувався так, що в очах замерхтило. Помідори з краплями сметани на червоних щічках визирали з-під кущиків зеленої цибулі, мов гриби. Поряд — огіркові лялечки. Морквяні квіти. Бородаті дідусики з кропу — на салаті.

Сашко на мить підвів тьмяні очі й знову опустив голову.

— Iро, ти... — почав Тимофій.

— Мовчи. Вже йду.

Ще якусь мить вона вражено оглядала соковито малювані натюрморти, немов не сама все це зробила, а хтось інший змагався тут, щедро даруючи багатства своєї уяви. Та ще дужче вразило її те, що барвисті візерунки нараз закружляли, змішалися в безладну купу. Стіл зрушив з місця, захитався, навстріч йому хитнулися стіни, й кімната сповнилась оглушливим дзенькотом розбиваного посуду.

Іра встигла схопитися за одвірок. Вільною рукою вона щосили потерла очі й, хапаючи повітря, переборола миттєве запаморочення. Вже переступаючи поріг, бічним зором угаділа, що і стіл красується нерушно, і Тимофій та Сашко заклякли на тому ж місці, вступивши очі в підлогу.

Коли Iра опинилася на маленькому приміському вокзалі, була вже пізня ніч. Втім, сама не тямила, скільки годин минуло, — здавалося, багато років блукала безлюдними вулицями. Біля якогось паркану підвівся старий, видно, собака й поплентався за нею. Покірливо присідав, коли вона зупинялася, й скорботними очима дивився на неї, тихо скигличи.

Прискорила ходу. Не від собаки тікала, а від усього, що гналося за нею, наздоганяло, як дзенькіт посуду, як безнастанний дзенькіт у голові.

Нудне і тоскне, в темному свіtlі вбогих свічечок, вокзальне приміщення дихнуло на неї смородом пилюги й тютюнового диму. На дерев'яних лавах в незворушних позах завмерло кілька постатей. На їхні обличчя падала сіра тінь тоскного чекання.

Зойкнув, пробігаючи повз вікна, електровоз, а далі закричав ще пронизливіше. Мабуть, кликав поїзди, що заблукали в пітьмі.

Цієї хвилини Ірі здалося, що саме цей зойк привів її сюди й нагадав про все. Адже з цього вокзалу вона іздила до тітки Мотрі. Спочатку одна. Потім удвох з Тимофієм. Потім утрьох.

Перед очима постав тихий завулок у Калинівці, стара хата з почорнілою стріхою. Там на неї завжди чекає рідна душа — тітка Мотрі, бабуся Мотря з мілим прізвищем Добривечір.

Знала, що до Калинівки лише один поїз — уранці.

Зачовганою підлогою рушила в куток, сіла на тверду лаву й, заплюшивши очі, пірнула в холодне чекання. Відчула, що й сама вона — від скронь, у яких безнастанно калатало, до мізинного пальця на нозі — холодіє, і це не дивувало й не лякало. Хіба не так має бути?

* * *

Іра не могла знати, що саме цього вечора дві старі жінки, сусідки тітки Мотрі, гірко похитуючи головами й витираючи сухі, виплакані очі, складали, як уміли, листа до неї, що його, мов диктант у класі, записувала на аркуші із зошита п'ятикласниця Дуня.

Висунувши кінчик язика, вона старанно виводила між трьох лінійок навкоси:

«Добридень, Іронько, тобі й твоєму сімейству, і привіт од усієї Калинівки. Оце відписусмо тобі, яка баба Мотря веліла нам позавчора, у вівторок. Ще два дні полежала, казала, як гірше стане, щоб до тебе телеграму дали, а вчора вранці прийшли до неї, то вже була нежива. Казав доктор — од серця. А сьогодні, п'ятнадцятого числа, поховали її, спасибі добрим людям, поховали, як годиться. Коли всі розійшлися, то ми тихенько помолилися за її душу. А тепер одписуємо тобі, як Мотря веліла нам, з благословенням, щоб ти щаслива була, і чоловікові твоєму, і синові Сашкові доброго щастя. Як матимеш час, приїжджай на могилку. А ще казала Мотря, як жонатим стане Сашко й підуть діти, то й вони хай щасливі будуть. Отаке горе усім нам, Іронько, бо росли ми з Мотрею змалку, як сестри, оце й відписуємо тобі з низьким поклоном, аби знала, що вже нема на світі нашої Мотрі...»

Каса відчинилася рівно о шостій. Іра взяла квиток і пішла до вагона. Людей було мало.

Поїзд рушив, і тоді вона згадала: «Тітка Мотрі просила чаю привезти. Як же це я забула?»

ВОСЕМЬ ПИСЕМ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА В.ВАЙСБЛАТУ

Публикуемые в альманахе «Егупец» письма Шолом-Алейхема (3 из них публикуются по-русски впервые) адресованы моему деду Владимиру Наумовичу Вайсблату (1882–1945) — театроведу и театральному деятелю, книговеду, литератору и издателю. Именно он доказывал необходимость создания в Российской империи еврейского театра, что и привлекло внимание Шолом-Алейхема.

В настоящее время о В.Н.Вайсблате практически ничего не известно, хоть его личность и судьба заслуживают внимания и памяти. Поэтому несколько слов о моем деде и его корнях.

Родился он в местечке Малине в семье раввина Наума Вайсблата, позже переехавшего в Киев и служившего казенным раввином в Купеческой синагоге (нынешний кинотеатр «Кинопанорама»).

Семья Вайсблатов даже по тем временам считалась большой — 14 детей. Тем не менее, все дети получили образование, но, несмотря на желание отца, ни один из сыновей не пошел по его стопам: стали врачами Соломон, Арон, Исаак, Эмиль, Израиль — Иосиф художником, Яков — известным строителем.

Что же касается моего деда, то он получил наилучшее образование (все же первенец!) — в том числе и заграничное: учился в знаменитом Гейдельбергском и Берлинском университетах. После возвращения жил в основном в Киеве, а иногда в Петербурге, работал в различных литературно-художественных изданиях, в частности — в популярной еврейской газете «Дер Фрайнд», которую издавал небезызвестный С.М.Гинзбург. Именно в этой газете В.Вайсблат опубликовал статью в поддержку идеи Шолом-Алейхема о создании «Еврейского художественного театра», что и послужило поводом к началу переписки между молодым литератором и знаменитым писателем.

Обращение Владимира Вайсблата к проблемам театра не было случайным: он увлекся театром еще в студенческие годы и тогда же познакомился с выдающимся немецким актером и режиссером Максом Рейнхардтом, а также с крупным художником и декоратором немецкого музыкального театра Эмилем Преториусом, о творчестве которого опубликовал большую статью в журнале «Искусство в Южной России».

В предреволюционные годы В.Н.Вайсблат активно занимается издательско-просветительской и литературной деятельностью: несколько лет составляет и издает популярные антологические сборники «Чтец-декламатор», включавшие многочисленные стихотворные, прозаические и драматические произведения отечественных и зарубежных писателей; в 1913 г. составляет и издает (под псевдонимом «Александр Гер») «Театральную хрестоматию», в работе над которой помочь автору оказали знаменитый К.Станиславский и выдающийся русский актер В.Давыдов. Кстати, о псевдонимах: кроме «Александра Гера» В.Вайсбл-

лат пользовался в своих публикациях и другим именем — «Белолистов» (буквальный перевод фамилии).

Из публикуемых писем видно, что Шолом-Алейхем собирался в Одессу для встречи и совместных выступлений с крупнейшими европейскими писателями и звал туда же В. Вайсблата. Очевидно, именно встреча там с живыми классиками подтолкнула молодого литератора к составлению и изданию в 1908 г. (Киев, издательство Симоненко) «Еврейского альманаха», включавшего произведения Шолом-Алейхема, Ш. Аша, М. Мойхер-Сфорима, И.-Л. Переца, Х.-Н. Бялика, а также пьесу самого Вайсблата (А. Гера) «К солнцу», которая вскоре была поставлена в киевском театре Соловцова.

О широте интересов В. Вайсблата свидетельствует круг его знакомств. В нем кроме деятелей европейской литературы и культуры, выдающиеся деятели культуры украинской — Г. Нарбут, М. Грушевский, С. Ефремов, А. Никовский и многие другие. Связей с ними он не порывал и после революции, что помогло ему стать одним из основателей украинского издательства «Всевидав», подготовить к изданию в качестве не только редактора, но и переводчика ряд произведений европейских писателей, в частности в 1920 г. он совместно с Миколою Зеровым перевел на украинский язык и издал «Народні оповідання» И.-Л. Переца (переизданы в 1994 г. автором этого предисловия — Ред.). Совместно с М. Зеровым (составитель, переводчик) А. Гер (художественный редактор) издал также «Антологію римської поезії» и сборник «Нова українська поезія».

В дальнейшем В. Н. Вайсблат работает художественным редактором в различных издательствах, выпускает книги по искусству, а также произведения украинской классики, в том числе «Кобзарь» Тараса Шевченко с иллюстрациями В. Седляра. В эти же годы он работает профессором Украинского института книговедения, сотрудничает с ВУАН и ее Евсекцией, возглавляет относящуюся к Академии наук Лаврскую типографию.

В последние предвоенные годы в связи с резким ужесточением национальной, культурной и издательской политики поле деятельности В. Н. Вайсблата сужается, его знания и широкие культурные связи оказываются ненужными и даже опасными. Поэтому ему приходится служить скромным техническим редактором в медицинском издательстве Украины.

Публикуемые 8 писем Шолом-Алейхема к В. Вайсблату — это, безусловно, лишь часть их переписки. Хочется надеяться, что оставшиеся письма просто еще не найдены и хранятся в неописанных архивах, а читателя еще ждет встреча с ними. Естественно, хотелось бы, чтоб они были опубликованы вместе с никогда не публиковавшимися письмами моего деда к великому писателю.

Артур Рудзицкий, книговед, издатель

I

Берлин, 12.02.1908 г.

Милостивый государь, г. Вайсблат!

Пишу Вам по-русски для того, чтобы Вы могли показать это письмо В.Н. Догмарову*.

Прочел Ваше задушевное слово в евр.газете «Дер Фрайнд» по поводу Евр.худ.театра. Слово это в некоторой степени касается и меня — и вот с какой стороны. Я написал две пьесы : драму и комедию. Предпочтение я отдал последней, ибо драм у нас видимо-невидимо, а комедий почти что нет. Даже в русском репертуаре их мало. В особенности хороших комедий, таких, после которых зритель должен был бы (по выражению моего американского рецензента) «собирать свои бока». Я такую комедию написал. Ее переводят здесь в Берлине на русский и немецкий языки. По-немецки она пойдет в одном из берлинских театров. По-русски — не знаю. Быть может, в Московском Худ.театре. Не знаю, известно ли Вам, что я киевлянин. Это была бы хорошая идея — поставить мою комедию в Киеве. Повидайтесь с артистом Догмаровым. Пьеса, хотя и бытовая, еврейская, т.е. типы еврейские, жизнь еврейская, но идея общечеловеческая. Называется она «Клад». Комедия в 4-х действиях Шолом-Алейхема. Я живу здесь временно. Постоянно в Америке. Семья же моя — в Женеве, в Швейцарии, куда и прошу ответить мне на это письмо. Я сам тоже скоро буду в Женеве.

Всего наилучшего, если что-либо хорошее возможно еще в России.

Ш.-Алейхем.

II

Женева, 22.02.1908 г.

Многоуважаемый господин Вайсблат!

Ваше письмо обрадовало меня. Находятся еще люди на свете, интересующиеся такими глупостями как искусство, литература, тем более еврейское искусство и литература, особенно на «жаргоне». Я думал, что в нашем городе Егупте знают только о сахаре, акциях, банках, банкротах, кукишах, ездить в Мариенбад, жить в Бойбрике, играть в преферанс, экарто или тертл-мертл! Я всегда думал, что для моих биржевых коллег «Шолом-Алейхем» должен быть выкрестом в семье. Если будут играть мою пьесу «Клад» в Киеве — и будут ее играть с большой охотой, ибо эта комедия мне очень удалась, как «Ревизор» Н.В. Гоголю, чей мизинчик толще моей голени, я увижу отсюда, из далекого государства, как мои земляки будут держаться за бока от смеха, и ругать меня.... и в тот же вечер за зеленым столиком забудут еврейского

* Догмаров В.Н. — актер и режиссер, в 1908-1909 гг. работал в Киеве, в театре Соловцова.

Марка Твена, егупетского Гоголя... Вот это же судьба еврейского писателя, поэта, драматурга. Для празднования его юбилея не найдется миллиона. Познанского, подарившего 75 тысяч Сенкевичу... Наши сахарозаводчики скажут, что они принципиально против «жаргона».

Не подумайте, что я об этом жалею, боже сохрани, жалуюсь, я этого не люблю, я не пессимист, это не моя статья. Я только сожалею, что еврейский писатель не может существовать трудом своего пера, а должен искать моральную и материальную поддержку у других народов.

Я пришлю Вам свой «Клад» уже на русском языке. Его переводит знаменитость в Берлине, я его сам редактировал — я и по-русски не бездарный портняжка. К сожалению, из-за отсутствия времени не могу сказать пару теплых слов по поводу Вашей симпатичной идеи, напишу при первой возможности. Фотографию высыпаю Вам. Хотите ли что-либо моего перевести для Вашего «Сборника»? Найдите газету «Фрайнд» за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и январь месяцы. Там опубликована серия маленьких рассказов «Эмигранты». Выберите сами. Прошу сразу ответить —

лучшими пожеланиями

Шолом-Алейхем

P.S. Посылаю Вам свое факсимиле на трех языках. Хотелось бы, чтобы вместо предисловия в Вашем сборнике был перевод моего письма (если Вы находите нужным). Из фото — сделайте клише, а оригинал верните мне и пару выдережек.

III

Женева, 30.03.1908 г.

Любезный г. Вайблат!

Вчера я Вам писал по поводу моего нового пасхального рассказа*, и самый рассказ я Вам послал и просил потрудиться зайти к г-ну Лебединскому. Хочется мне надеяться, что все это будет исполнено. Кстати, если бы рассказ был г-ном Лебединским переведен, в «Киев. мысли» напечатан, то гонорар редакция могла бы выслать мне сюда (за вычетом Ваших расходов по переписке начисто на «кремингтоне» и проч.).

Кроме того, Вы не забудьте прислать мне несколько экземпляров газеты. Все это мелочи. У меня к Вам более крупная просьба, даже две просьбы. Текущий сезон, по-видимому, мы уже продули. Пора заботиться о будущем, подготовив к самому началу сезона пьесу, которую необходимо прежде всего перевести. И вот, имея случай познакомиться с Лебединским, и, если он переведет рассказ, Вы сумели бы заполучить его согласие на перевод моей пьесы «Клад».

Во всяком разе, не мешало бы позондировать почву и в других

* Речь идет о рассказе «Зелень к празднику».

сферах, — авось откликнется какой-либо аматор или профессионалист переводчик. Пожалуйста, пораскиньте мозгами. Затем я Вам, кажись, уже писал, что пьеса моя «Клад» очень подходящая вещь в репертуаре малороссийской труппы. Наверно, у вас есть ходы и среди малороссов, раз Вы в таких отношениях с Догмаровым. Пьеса эта как бы создана для польского и малорусского театра. Понятно, что перевод на малороссийский язык может быть сделан только с русского перевода. Где же он? Боже, где же он?

А теперь еще. Гостит у вас еврейская труппа в театре Бергонье. Сем Адлер — это артист, с которым мы некогда заключили контракт. Он поставил «Разброд» миллион раз. Мне заплатили гроши. Но бог с ним. Не в этом дело. А вот в чем: не купит ли он мой «Клад» (комедия в четырех д. и 5 карт.), где он имеет чудную роль для себя (комическую) и для прочих его артистов? Для Спиваковского, напр., выдающаяся роль (Лейви Мозговоер). Получили ли Вы рецензию? Если бы я был немного смелее, я бы Вас настоятельно просил разыскать Сема Адлера и поговорить с ним. Он бы мог списаться со мной. Ему это весьма и весьма полезно.

Ну, милый человек, я Вас, кажется, утомил. Будьте счастливы (если это еще возможно там...).

Vash Sh.-Aleyhem

IV

Женева, 28.04.1908 г.

Уважаемый Вайсблат!

Получив тогда Ваше любезное письмо, я Вам сейчас же ответил и в то же время написал г.Лебединскому письмо. Но ни от Вас, ни от Лебединского ни гугу. Что бы это значило? Скажите.

Привет. Ваш Ш.-Алейхем

Пожалуйста, пришлите мне № «Киевской мысли» за 11/24 апреля*.

Заранее благодарю Вас. Ш.-Алейхем.

Кстати, меня вызывают в Россию на гастроли — в Одессу и Варшаву. Присылка моей пьесы, таким образом, облегчена.

V

Женева, 6.05.1908 г.

Друже!

Я от Вас сойду с ума. Из последней Вашей статьи во «Фрайнде» я понял, что Ваша идея о создании театра, полагаю, что речь идет о еврейском театре. Ах, где бы сейчас найти пару хороших актеров, и

* Шолом-Алейхем имел в виду «Киевские вести», где в русском переводе Вайсблата и Слонима был опубликован рассказ «Зелень к празднику».

несколько середняков, можно было бы начать! У меня своих четыре пьесы и пару водевилей. Я мог бы сам, может быть, пойти к амвону, но иди! Кстати, я сейчас собираюсь выехать на гастроли в Россию и немного заняться бизнесом. Как сделать, чтобы мы повидались? Если возможно, приезжайте в Одессу на мой концерт, который уже разрешен генерал-губернатором. Я вам сообщу точную дату выступления.

От живого Лебединского ни ответа, ни привета. Очевидно, прошлогодний снег. Чуяло мое сердце. Вы пишите по-еврейски, словно злодей.

До свидания

Шолом-Алейхем.

VI

Белосток, 3.06.1908 г.

Уважаемый и любезный Вайсблат!

Спасибо, большое спасибо за присланное. Вы ж таки совсем не еврей!
(Евр. комплимент.)

Нам видится необходимо, и для этого один лишь благоприятный момент. Это 8-го, воскр., в Одессе, на вечере, где соберутся Абрамович, Бялик, Фруг, Аш и Ваш покорный слуга. Меня прямо вырвали, заставили туда поехать — и я дал слово. Пропало. Тем более я должен с Вами видеться, п.ч. в Варшаве сделали предложение, которое должно и Вас интересовать, т.е. интересы перекрещиваются. Я же витаю теперь, как видите из прилагаемой газетки, между небом и землею. Приезжайте в Одессу!

Ваш Ш.-Алейхем.

VII

Минск, 4.07.1908 г.

Уважаемый В. Вайсблат

На банкете в Вильне... я встретился с известным М. Розенблатом из Киева, который выразил мысль устроить мой концертный вечер наподобие многих других вечеров в Киеве. Я ему ответил, что не знаю, удастся ли мне преодолеть себя и посетить родное пепелище, связанное с лучшими и худшими моментами в моей жизни. А если я соглашусь, то не иначе как при следующих условиях: 1) Вечер должен быть грандиозный во всех смыслах при соответствующей рекламе. 2) Устройство его должны взять на себя представители всех классов и партий. 3) Часть сбора должна пойти в пользу какой-либо общей, всеми симпатизируемой цели, — скажем, наиболее популярного и легализованного общества. 4) В моем литер. вечере должны участвовать и др. силы, как декламаторы, певцы, певицы или музыканты, разумеется, выдающиеся по таланту и по положению. 5) Помещение должно быть снято наилучшее в городе. 6) Разрешения можно добиться, если будут среди устроителей не только

добрьи меламдим и батлуным*, но и лица с именем и весом. 7) Для этой цели я обещал снабдить его афишами и программами, разрешенными губернатором, ген-губерн-м и полиц-ми других городов, так что с этой стороны также препятствий не было бы. 8) Остается еще вопрос о времени. К сожалению, на это ответить трудно. Я почти на все лето и осень, даже часть зимы, ангажирован разными городами Юга, Севера и Запада (только не Востока). Ближайшей осенью, напр., я в Москве-матушке (вообразите: первопрестольная и евр. писатель?). Затем я в П.-бурге. Глубокой зимой предполагается турне по Сибири. (Дико?). Придется урвать из промежуточных дней между городами кое-какой наиболее подходящий день и для «нашего» Киева. Разумеется, за месяц раньше. Что касается морального успеха, то смею сказать, что он обеспечен. Работы и энергии должно быть затрачено изрядно (со стороны организаторов), но и цены должны быть поставлены во какие, памятуя изречение: если уж жрать свинину, то пусть по бороде течет. Не может ли г-н Догмаров (и др.) принять участие в этом вечере? Кстати, у меня есть идея, кажется, счастливая. Недавно я напечатал в «Унзэр лебен» драматический этюд в одном акте под названием «Люди». Во всех крупных городах принято в антрактах моих чтений ставить какой-нибудь водевиль моего сочинения, конечно, с помощью любителей из молодежи. Часто это проходит довольно успешно. Но в Киеве с такими выдающимиися артистами, вроде Догмарова, я бы хотел блеснуть более глубокой вещью, какой я считаю именно «Людей». Советовал бы Вам, выписав №№ «Унзэр лебен» (7 номеров перед и после пасхи сего года; в редакции знают), внимательно прочесть и передать г. Догмарову.

В «Людях» есть известная идея и настроения. Типы людей живы, выхвачены из жизни. У хороших, талантливых исполнителей получится живая, занимательная, грустно-веселая картина, заставляющая вдуматься поглубже. Первоначально это была 3-актная комедия. Потом я раздумал и превратил в одноактную, сгустив и сконцентрировав, как в фокусе, всю обстановку и смысл «Людей». Образцы афиш и программ при сем высыпаю. А увидимся когда? Неужели лишь осенью или зимою? Пишите в Варшаву.

Ваш Ш.-Алейхем.

VIII

17 июля 1908 г., Поленица под Варшавой

Дорогой Вайсблат!

Нет, Вы меня, очевидно, не поняли или плохо меня знаете. Слишком много чести для Сэма Адлера меня декламировать. Могло бы случиться, чтобы Сэм Адлер исполнил одну из моих вещей на моем литературном вечере и он должен был бы мне за такую рекламу доплатить. Дать мне

* Пустомели и болтуны.

200 рублей. Удавшийся вечер может принести 2000 рублей сбора, из коих я отдал бы значительную часть на добрые дела (учительскую кассу и т.п.), а Сэм Адлер должен был бы здорово поболеть и умолять меня выступить со своими подмастерьями-подонками на таком вечере, именуемом Литература и Шолом-Алейхем. На моих вечерах любители разыгрывают мои же одноактные пьесы. А подонков я на порог не пускаю, уже пора, чтобы они вновь стали подмастерьями; парша на их головах все равно не излечилась. Но удалить их нельзя по другой причине: эти молодчики любят доносить начальству, если такая «птица» как я забираю у них вечер. Таких случаев было много... Я выразительно описал артистов и дворовых слуг. Я предполагаю, что вокруг Вас не вертятся такие людшки как Адлер, Фишзон, Компаневич и прочие...

Все-таки посылаю Вам афишу из Вильно, чтобы ознакомить Вас с программой моих выступлений, разрешенных виленским генерал-губернатором. Это значит, что в России еще можно выступать. Естественно, надо найти такого организатора, который был бы вхож в такие сферы и не теперь, а вообще мы говорили о зиме. Если будет у Вас господин М.Розенблат, передайте ему все афиши и программы. Может быть, он найдет подходящую персону. А если нет, я не огорчуся. У меня небольшая охота бывать в Киеве, а времени еще меньше. Городов на Руси, слава Богу, достаточно, а охотников послушать Шолом-Алейхема еще больше. Мой приезд в Киев был бы только ради Вас и ради Вашей идеи, которой я загорелся, а быть просто так, или продаться актеришкам за 200 руб., мои враги не дождутся. А дальше, будьте здоровы.

Ваш друг Шолом-Алейхем.



ХУДОЖНИК МИХАИЛ ТУРОВСКИЙ —

наш земляк, и он, естественно, им и остался, переехав 17 лет тому назад в США. Эмиграция способствовала его всемирной известности, но не избавила от проблем, от которых и невозможно избавиться, оставаясь художником и мыслящим, любящим, страдающим человеком.

Поэтому Михаилу Сауловичу все так же мучительно небезразличны наши беды и радости, мечты и обиды. Это легко установить, читая плоды его размышлений, иронично и точно определенные им самим как «Зуд мудрости». Вот лишь некоторые его афоризмы, имеющие непосредственное отношение к нашей действительности:

«Свобода в твоих руках, человек! Чего же ты хватаешься за голову?»

«Если человек родился в тюрьме, должен ли он считать ее своей Родиной?»

«Горе от ума, чести и совести нашей эпохи».

«Время — деньги, часто — фальшивые».

«Чем длиннее тупик, тем он больше похож на дорогу».

«Человек — брешь любой идеологии».

«Уходя в себя, не останавливайся возле каждой пивной».

«В России роль Моцарта по-прежнему исполняют отдельные личности.

В роли Сальери — целые организации».

«Не надо изобретать крылья. Их надо выстрадать».

«Факты — упрямая вещь: они никогда не дадут рассказать о себе всю правду».

«У свободы есть постоянный адрес: „До востребования“».

«Ненавижу лозунги с запахом крови!».

«В стране, где нет свободы, почему-то и хлеба не хватает».

«Теперь Иуда за те же деньги целует тридцать человек».

«Несчастные делятся на тех, кто все потерял, и на тех, кто ничего не нашел».

«Приветствую завтрашний день, а не уверенность в нем».

«Нет такого таланта у нас на Родине, по которому не прошлись бы серпом или молотом».

«Конец света, может быть, и не скоро, но как надоели репетиции!».

«Будьте осторожны с глупостью! У нее везде свои».

«История повторяется. С евреями она повторяется чаще».

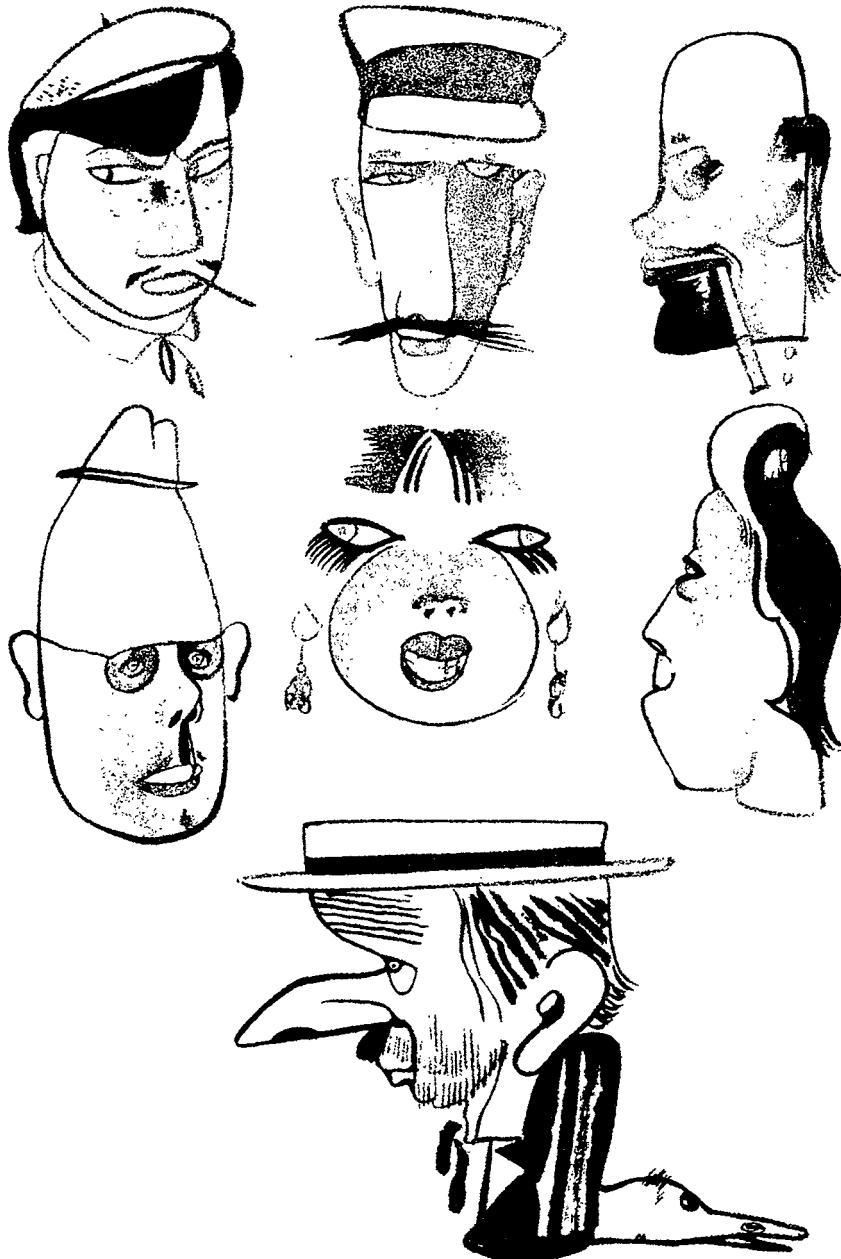
Михаил Туровский известен миру как живописец, мастер станковой графики, блестящий портретист. Его большие персональные выставки в Париже, Женеве, Брюсселе, Мадриде, Тель-Авиве, Нью-Йорке и других городах Европы и Америки продемонстрировали его возможности в этих жанрах. Но мы хорошо помним его киевскую выставку, на которой кроме станковой графики были широко представлены графика книжная и рисунок. Мы храним в своих библиотеках книги В. Стефаника, Л. Украинки, Л. Фейхтвангера, Г. Манна, И. Бехера и многих-многих других с замечательными иллюстрациями М. Туровского, а кое-кто из нас является и счастливым обладателем его рисунков. Мне лично, отнюдь не искусствоведу, кажется, что именно в рисунках в значительной степени выразилось мастерство художника: они всегда пластически лаконичны, выразительны, точны, часто сдобрены иронией и горечью.

Продолжая традицию знакомить читателя «Егупца» с творчеством наших известных художников, редколлегия представляет рисунки Михаила Туровского, воспользовавшись для этого материалами из личных коллекций (почти все рисунки публикуются впервые). Надеюсь, они дадут представление о темах, волнующих художника, и о его творческой манере.

Гедий Аронов







Вениамин Блаженных

Имя Вениамина Блаженных уже знакомо читателям «Егупца». Его стихи, опубликованные в первом номере, вызвали добрые и заинтересованные отклики. Для второго номера автор предложил нам 4 новых стихотворения.



Простите, что я говорю по-еврейски,
Что веций язык мой доступен немногим,
Лишь тем бесконечно любимым и близким,
Кто древле со мною соседствовал в Боге.

И вот вам избранников древних приметы;
Они на греховной земле не случайны,
Они страстотерпцы, изгои, поэты
И в душах хранят сокровенные тайны.

Они на задворках печального гетто
Читают молитвы с усердьем хасида,
И на рукавах их желтеет примета,
Что скорбно зовется звездою Давида.



Дети, умирающие в детстве,
Умирают в образе зайчат,
И они, как в бубен, в поднебесье
Маленькими ручками стучат.

«Господи, на нас не видны раны,
И плетей на нас не виден след...
Подари нам в небе барабаны,
Будем барабанить на весь свет.

Мы сумели умереть до срока —
Обмануть сумели палачей,
Добрести сумели мы до Бога
Раньше дыма газовых печей.

Мы сумели обмануть напасти,
Нас навеки в небо занесло...

И ни в чьей уже на свете власти
Причинять нам горести и зло».



В калошах на босу ногу,
В засаленом картузе
Отец торопился к Богу,
Как водится у друзей.

И чтобы найти дорожку
Заветную — в небесах,
С собой прихватил он кошку,
Окликнул в дороге пса.

А кошка была худою,
Едва волочился пес,
И грязною бородою
Отец утирал свой нос.

Робел он, робел немало,
И слезы тайком лились...
Напутственными громами
Его провожала высь.

Процессия никудышних
Застыла у божьих врат...
И глянул тогда Всеявшний
И вещий потупил взгляд.

— Михоэл, — сказал он тихо, —
Ко мне ты пришел не зря:
Ты столько изведал лиха,
Что светишись, как заря.

Ты столько изведал бедствий,
Тщедушный мой богатырь...
Позволь же и мне согреться
В лучах твоей доброты.

Позволь же и мне с сумою
Брести за тобой, как слепцу,
А ты называйся Мною:
Величье тебе к лицу.



Отец на скрипке не играл Шопена,
Но, удивляя торопливых встречных,
Сам становился звуком постепенно,
Небесным звуком, уходящим в вечность.

Да, он умел, отринув все заботы,
Уйдя от склоки и уйдя от торга,
Стать как бы дуновением субботы,
Стать как бы дуновением восторга.

Он словно сам был скрипкою господней,
Такой предвечной и нежданно-юной...
Ах, как спешил он в вечер новогодний
Себя преобразить в смычек и струны!

— Играй, Господь, на мне свою сонату
Или мотивчик глупый и веселый...
Как хорошо счастливцу Айзенштадту,
Когда Господь свое играет соло!

Шимон Маркиш

Известный литературовед, исследователь, эссеист и критик Шимон Маркиш живет в Швейцарии, но на протяжении многих лет занимается, по его собственному выражению, «русско-еврейской словесностью во всех ее видах». Ему принадлежит и сам термин «русско-еврейская литература», его объяснение и разработка.

Для альманаха «Егупец» Ш.Маркиш предложил статью о судьбах этой литературы, о ее прошлом и настоящем, которое не внушиает радужных надежд на будущее.

РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА — ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? ДЛЯ ЧЕГО? ДЛЯ КОГО?

У французов, как, впрочем, и у других народов, есть много книжек, популярно разъясняющих смысл и значение (и назначение!) разных знаний и умений. О французы я вспомнил потому, что нередко заголовок таких книжек строится у них по единобразной формуле: *роигрои*, плюс «имя» знания, или его носителя, или его приложения, плюс вопросительный знак. Вся хитрость — в словечке *роигрои*, означающем не только «почему?», но и «зачем?», и даже «а что?», «в чем дело?». «Почему архитекторы?» «Философы — для чего?» «Общественные предприятия — какой в них смысл?» И так далее.

Не так давно мне пришло в голову: без малого два десятилетия я занимаюсь русско-еврейской словесностью во всех ее видах, культурой (или, скорее, цивилизацией) российского еврейства, как она выразилась и отложилась в печатных (письменных) текстах, — какой смысл не только в моих занятиях, но и в их предмете? Собственные занятия оправдать несложно: *мне* интересно — и шабаш. Но — предмет?

Русско-еврейская литература, включая журналистику, родилась в первые годы царствования Александра Второго Освободителя и была сравнительно поздним дитяят еврейского Просвещения (Хаскала), ставившего своей целью вывести евреев из гетто, из изоляции, как навязанной враждебным окружением, так и добровольной, «окультурить» их — если употребить застенчивый евфемизм новейшей эпохи, «ассимилировать» — если назвать вещи своими именами. Впрочем непростительной ошибкою было бы забыть о втором родителе — об александровской либеральной оттепели, пришедшей на смену непримиримому морозу николаевского консерватизма: без этой первой в российской истории оттепели, перевернувшей всю жизнь страны, русско-еврейская литература умерла бы во чреве матери-Хаскалы.

В лозунговой форме идею российской Хаскалы выразила широко известная в свое время и в своем кругу строчка Иегуды Лейба Гордона,

знаменитого — опять-таки в своем кругу и в своем поколении — поэта: «Будь евреем в своем дому и человеком, выходя за порог» (1861). По стечению разных обстоятельств, в ряду которых осуществление замыслов Хаскалы занимает далеко не первое место, программа оказалась перевыполненной на все сто процентов. Меньше, чем за сто лет, еврейская цивилизация на территории бывшей Российской империи исчезла почти что полностью. Еврейское само-сознание, само-стояние выветрилось. Не только на улице, но и собственных (собственных ли?) четырех стенах еврей стал «как все». Но ненависть и страх, отвращение и подозрения — весь тот смутный и взрывчатый комплекс, который (опять-таки в последние сто лет) стали называть антисемитизмом, не рассосался, напротив, укрепился и заматерел, а затем и налился кровью миллионов, шести миллионов, по меньшей мере. К сотой годовщине гордоновской строки-лозунга антисемитизм, то есть реакция на него, был по сути уже единственным, что формировало и поддерживало верность еврейству и само чувство принадлежности к нему.

В этих условиях ни пропаганда ассимиляции, ни борьба за политическое и гражданское равноправие, ни бытописание особой этно-цивилизационной группы уже не были возможны — не имели смысла. Невозможным сделался и особый взгляд со стороны, — художнический ли, журналистский ли, — на общероссийскую действительность, присущий, в той или иной мере, всему русско-еврейскому словесному делу, от начала до конца, от Осипа Рабиновича и Адольфа Ландау до Исаака Бабеля. Это означает, что русско-еврейская культура была не просто «закрыта» административно, ликвидирована тоталитарной властью, абсолютно непримой к какому бы то ни было инакомыслию, но изжила себя, исчерпала изнутри.

Разумеется, исчезновение еврейских газет и журналов по-русски, эмиграция журналистов, писателей, историков, запрещение или «добровольный» самороспуск многих общественных организаций, как, впрочем, и все остальные симптомы замирания, а затем и умирания еврейского творчества по-русски, должно вменить в ответственность новой власти. Но, по моему глубокому убеждению, нельзя вменить в вину ей, и только ей, молчание Бабеля после «Заката». Одновременно с Бабелем, от начала 30-х, замолкают — в русско-еврейском своем качестве — все мало-мальски значительные писатели: Александр Кипен, Наум Осипович, Михаил Козаков, Семен Гехт. Почва ушла из-под ног обрусевшего лингвистически еврейского писателя — еврейская почва, а именно: его читатель и, одновременно, предмет его писания, ассимилирующийся или даже вполне уже ассимилированный еврей, наконец-то добившийся вожделенного «слияния с окружающим большинством», — увы, слияния во всеобщем бесправии и деградации, прикрытыми фальшивым эгалитаризмом и примитивным, языческим мессианизмом. Такой читатель и его писатель сделались взаимно неинтересны. Рассказ «Карл-Янкель» (1931), где Бабель

пытается освоить новый материал, нового еврея, уже не «живущего особо» (Числа, 23, 9), но растворившегося в толчее обезличивающего общежития, в анонимной и однообразной толпе, — этот рассказ производит удручающее впечатление на самого автора, который прямо признается в этом в письме к матери и сестре за границу.

В 20-е годы насищенно, а отчасти и кроваво ликвидируется ивритский, «сионистский» извод еврейской культуры в Российской империи, ставшей Советским Союзом. В 30-е, как сказано выше, уходит русскоязычный извод, растворяясь — хорошо ли, дурно ли — в общероссийской словесности. 40-е же увидели физическое истребление, искоренение массы, говорившей на идиш, — стараниями Гитлера и нацистов, а затем гибель и рассеяние, размет тех, кто для этой массы писал, пел, играл на сцене, — заботами Сталина и русских советских людей, патриотов своего социалистического отечества. Российское еврейство умерло духовно.

Умерло или вымерло?

До 1985, до начала перемен в СССР, эта смерть казалась мне скорее мнимой, чреватой воскресением, возрождением, — пусть только обстоятельства изменятся, пусть, каким-то чудом, «оковы тяжкие падут», «зрят темницы». И вот — чудо произошло, евреи, вместе со всеми прочими зэками коммунизма, вышли на волю. И мой оптимизм дал трещину, чтобы не сказать: развалился.

Я мало что смыслю в социологии и демографии, и Боже меня упаси хоть ненароком прикоснуться к язвам политики. Поэтому не стану даже упоминать о стремительно сложившемся еврейском эстаблишменте, главная функция и цель которого — самообслуживание; ни о мрачных оценках как ближней, так и, особенно, дальней перспективы, выносимых и своими, и зарубежными экспертами, вроде того, что, если хоть какая-то часть еврейского народа на территории бывшей Российской/Советской империи уцелеет, это будут лишь носители ультраортодоксального иудаизма, строжайшие хранители заповедей (шомрим мицвот); но те же эксперты констатируют, что возврат к религии, о котором с такой охотой и умилением толкуют на Западе и в Израиле, — фикция, самообман в лучшем случае и прямой обман в худшем. Обо всем этом, повторяю, не стану даже упоминать, но о ростках того, что могло бы претендовать на преемственность по отношению к русско-еврейской литературе, — скажу.

Поначалу, еще задолго до перемен, еще в начале 70-х, эти ростки зарождались в российской почве, но пробивались в Израиле. Не всегда, но довольно часто в них бывала (для меня — во всяком случае) «радость узнавания»: оказывается, какие-то из характеристик русско-еврейского словесного творчества прошлого, главным образом — еврейское самосознание, пережили арктическую стужу коммунистического тоталитаризма, или, если угодно, умерли, но способны «принести много плода», как то пресловутое пшеничное зерно из притчи в «Евангелии от Иоанна»

(12:24). (Обращение к христианскому канону не требует извинений: литературно канон этот, и притчевые вкрапления в частности и в особенности, отменно вписывается в еврейское творчество той эпохи и на арамейском языке, и на греческом, и на иврите.) Сегодня место — написания ли, публикации ли — перестало играть какую бы то ни было роль: автор живет в Иерусалиме, а печатается в Москве или Ленинграде или, скажем, живет в Москве и там же и печатается, но на титульном листе обозначено «Москва-Иерусалим». В этой топографическо смешанной литературной продукции мне видятся две доминанты: «чернуха» и «сиротство».

«Чернуха» стала термином еще в конце прошлого десятилетия; напомню, на всякий случай, что дело идет о безнадежно мрачном взгляде на мир, сплошь состоящий из мерзостей и отчаяния и противостоящий учрежденной и утвержденной властями сплошь голубой и розовой модели «нашей советской действительности». Еврейская «чернуха» всего совершившееся представлена в рассказах Асара Эппеля, очевидным образом складывающихся в цикл, который разбросан по разным, преимущественно журнальным (в разных московских журналах) публикациям и все еще не завершен печатанием. Ни персонажи — монстры повседневности, — ни авторское к ним отношение (даже не беспощадность, а какое-то понимающее равнодушие сопричастности) не имею себе даже отдельных аналогов в литературе прошлого. Да и не могут иметь! В прошлом сквозь мрак брезжил какой-никакой, но свет: надежды на равноправье, всеобщего братства, веры — наконец и в первую очередь. У Эппеля и персонажи, и автор-рассказчик одинаково — «дегенераты, вырожденцы», по приговору Фридриха Горенштейна в удивительном по пронзительности и горькому прозрению рассказе «Шампанское с желчью» (1986). «Если мы, евреи, — прорицает Горенштейн, — просуществуем еще сто лет в России, среди этой клокочущей, как горячая адская смола, злобы, среди лжи и клеветы, бесконечной и разнообразной, как хаос, то все превратимся в моральных и физических уродов». То, что Горенштейн относит к будущему, для Эппеля уже настало, совершилось. Его еврейский «человек предместья» — по определению, придуманному Эдуардом Багрицким еще на излете нэпа, — такой же точно монстр, как любой обыватель эпохи развитого социализма, «совок», только (на сей раз — по известной формуле В.В.Шульгина) «чуть хуже». Хуже не потому, что ненавидим, но потому, что на ненависть отвечает не бунтом, хотя бы робким, но трусливой покорностью.

Если «человек предместья» постоянно держит голову втянутой в плечи и хоть этим отличается от соседа-руса или татарина, неуемного обидчика и озорника, чтобы не сказать «бандита», и отличье это сознает всякий миг, каждым миллиметром своей кожи, то еврей «из центра», из умственной профессии, от счетовода до компьютерщика и физика-теоретика, от метранпажа до первого в газете пера и т.д., часто видит в

себе совершенно такого же русского интеллигента, как любой другой, вне какой бы то ни было зависимости от — как стало модно выражаться — этнического происхождения. Оно и прекрасно — при условии, что ни автор, ни персонаж этим самым происхождением не озабочены, если от еврейства осталось только имя, которым можно и нужно (по авторскому идеологическому посылу) пренебречь. Зато самомалейший поиск корней ведет к появлению другой из названных выше доминант — «к сиротству». Сиротами оказываются, в первую очередь, персонажи: они — ниоткуда, ни от кого, и это особенно жутко и безнадежно, если они пытаются вернуться в еврейскую среду, в еврейскую цивилизацию (ситуация «русские» в Израиле), которую использовали и продолжают использовать, прежде всего, русские литераторы, оказавшиеся в ролях новых израильтян, но не только они). Но еще безнадежнее попытки автора — еврейские ретроспекции, детали, разъяснения и т.п., безошибочно выдающие не только невежество (это бы еще полбеды — эрудиция — дело наживное), но и изумленный взгляд чужака, для которого еврейство — такая же экзотика, как, скажем, алеутство.

Я не хочу называть имена, чтобы не показалось, будто я сужу или, еще того хуже, осуждаю. Я наблюдаю — и только. Да и наблюдаю-то не за жизнью, не за «действительностью», пульса которой давно не ощущаю, а за «второй действительностью», за литературной продукцией, за плодами вымысла и — реже — вдохновения. И вот плоды моих наблюдений: я не узнаю себя в ней, не отождествляю себя ни с кем и ни с чем, тогда как русско-еврейская литература сто- и более-летней давности все еще дарит чувством непосредственной причастности, «примитивным» читательским желанием поставить себя на место героя.

Почему?

Моя ли только это вина (беда? преимущество?) — следствие возраста (седьмой десяток в середине), воспитания (в доме отца, Переца Маркиша, еврейство в этническом и культурном, но не религиозном понимании было главным, а скорее даже единственным интересом), четверти века в отрыве от «крови и почвы», от бывшего Советского Союза, его интеллигенции и его евреев? Несомненно, и моя. Но — не только.

Цивилизация, создавшаяся российским еврейством и составившаяся из разнородных и разноязычных граней, и все же, при всей разнородности, единая, включающая и покрывающая и любавических хасидов, и виленских ортодоксов, врагов хасидизма; и Левинзона, и Смоленского, и Ахад-Гаама, и Жаботинского, и коммуниста Литвакова, коммунистами же расстрелянного; и Менделе, и Бялика, и Переца, и Бабеля; и Анто-кольского с Левитаном, и Пена с Шагалом; и даже — по определению от противного — выкrestов и самонавистников, чьи имена, по еврейскому обычью, напоминать не рекомендуетсяся, — цивилизация эта ушла в прошлое полностью и беспреемственно. В этом главное отличье российской ситуации от того, что произошло с другими крупнейшими

общинами диаспоры: везде положение отличается, иной раз почти до неузнаваемости, от межвоенных (меж двумя Мировыми войнами) лет, но и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и даже во Франции сложились какие-то новые варианты еврейской цивилизации — есть «к чему принадлежать»; бывшая Советская империя — еврейская пустыня. Конечно, и пустыня может зацвести, как зацвела она в Израиле. Но ведь и обновленный Израиль не выводится напрямую из библейской земли, текущей молоком и медом, и едва ли пророк Амос и Амос Оз относятся к одной и той же литературе, культуре, цивилизации. Иначе говоря: даже если произойдет еще одно чудо и еврейство в Восточной Европе возродится, разрыва традиции, завершенности и невозвратности прошлого это не отменит. Русско-еврейская культура принадлежит теперь истории — почти на тех же основаниях, что, например, культура вавилонского еврейства времен господства Сасанидов.

Нет никакой надобности напоминать о заслугах и достоинствах российского русскоязычного еврейства, о его вкладе и т.д. Соответствующие цитаты и списки громких имен, мне кажется, уже набили оскомину заинтересованному читателю. И все же я приведу еще одну цитату, едва ли кому-нибудь из читающей публики известную. Приведу анонимно, потому что она, цитата, — из частного письма-сobelезнования, и ни автор, ни адресат не давали мне права на публикацию. Скажу лишь, что адресат — потомок одной из самых благородных и щедро благотворительствовавших семей, богатых, к тому же, не только деньгами, добротою и чувством ответственности за судьбу общины, но и талантами; автор же — знаменитый ученый-гуманист, он родился в пределах старой России, но вырос на Западе. Перевожу с английского: «Я твердо убежден, что российские евреи интеллектуально и морально выше всех прочих евреев, что у них больше воображения, гуманности, творческих способностей, души и что немецкие, французские, итальянские евреи — иссохшие мумии по сравнению с ними. ... Вся эта культура целиком теперь пришла к концу... очень одаренный поэт Иосиф Бродский, например, не знает о ней практически ничего».

Если здесь и есть некоторое преувеличение, — жанр соболезнования обязывает, — то мысль безусловно верна: щедро зазеленевшая и ни с какою другой не схожая ветвь еврейской культуры иссохла.

Самое печальное и самое непонятное — это безразличье к ней самих евреев. Если Семен Фруг неинтересен Иосифу Бродскому, ни удивляться, ни огорчаться не стоит. Но если существуют десятки (не перевалило ли за сотню?) центров и центриков еврейских исследований, Jewish Studies по разным университетам в разных странах, а русско-еврейская словесность не исследуется специально, как таковая, нигде, — надо было бы развести руками, но не получается: руки опускаются.

Неужели мы не понимаем, что русскоязычная часть универсальной еврейской культуры так же ценна и необходима для еврейства, как любая

другая из ее составляющих, что, предавая эту часть забвению или просто невниманию, мы совершаляем такой же грех против себя самих и против наших потомков, как если бы забыли великих «испанцев» XI-го века, «немца» Мендельсона, «англичанина» Зангвила, «француза» Эли Визеля?

Много лет назад, двадцать если не тридцать, американо-еврейский прозаик Синтия Озик высказалась в том смысле, что язык крупнейшей в мире общины, английский в американском своем варианте, может и должен стать новым еврейским «лингва франка», новым идиш, и не просто как средство общения, но как носитель новой поэтической выразительности. Но в начале века, в канун великих потрясений и катастроф, этим веком принесенных, на роль эту в какой-то не слишком дальней перспективе мог бы претендовать русский. Неужели мы этого не видим? Или не хотим видеть?

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Исаак Бабель

Предлагаем вниманию читателей «забытого», а вернее неизвестного И. Бабеля, а именно — печатавшиеся в 1917-1920 годах краткие очерки, жанр которых обозначен самим автором как «Дневник» или «Мои листки».

Большинство их увидело свет в петроградских «Журнале журналов» и «Новой жизни» и подписано псевдонимом, являющимся слегка измененной фамилией — «Баб-Эль».

А очерк «Ее день» (1920 г.) опубликован в газете «Красный кавалерист» и подписан хорошо известным из «Конармии» псевдонимом — К. Людовик.

При жизни Исаака Бабеля, а тем более после его гибели, эти произведения не перепечатывались и оказались наглухо забытыми (читатель легко поймет почему).

Лишь в 1979 г. они были собраны и опубликованы Н. Струйдом в издательстве ARDIS (Париж), но эта публикация, естественно, осталась неизвестной нашему читателю.

ОДЕССА

Одесса очень скверный город. Это всем известно: вместо «большая разница» там говорят «две большие разницы» и еще «тудою и сюдою». Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом значительном и очаровательнейшем городе в Российской Империи. Подумайте — город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Половину его населения составляют евреи, а евреи, это — народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты, чадолюбивы, потому что это же очень хорошо и нужно — любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень путают губернаторы и циркуляры, но сбить их с позиции не легко, очень уж стародавняя позиция. Их и не сбьют и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями — создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу.

Одессит — противоположен петроградцу. Становится аксиомой, что одесситы хорошо устраиваются в Петрограде. Они зарабатывают деньги. Потому что они брюнеты — в них влюбляются мягкотельые и блондинистые дамы. И вообще одессит в Петрограде имеет тенденцию селиться на Каменноостровском проспекте. Скажут, это пахнет анекдотом. Нет-с. Дело касается вещей, лежащих глубже. Просто эти брюнеты приносят с собой немного солнца и легкости.

Кроме джентльменов, приносящих немного солнца и много сардин в оригинальной упаковке — думается мне, что должно прийти — и скоро — плодотворное, животворящее влияние русского юга, русской Одессы, может быть (*qui sait?*), единственного в России города, где может родиться так нужный нам, наш национальный Мопассан. Я вижу даже маленьких, совсем маленьких змеек, предвещающих грядущее — одесских певиц (я говорю об Изе Кремер) с небольшим голосом, но с радостью, художественно выраженной радостью в их существе, с задором, легкостью и очаровательным — то грустным, то трогательным — чувством жизни; хорошей, скверной и необыкновенно — *quand même et malgré tout*, — интересной.

Я видел Уточкина, одессита *pur sang*, беззаботного и глубокого, бессстрашного и обдумчивого, изящного и длиннорукого, блестящего и заику. Его заел кокаин или морфий, заел, говорят, после того, как он упал с аэроплана где-то в болотах Новгородской губернии. Бедный Уточкин, он сошел с ума, но мне все же ясно, что скоро настанет время, когда Новгородская губерния пешечком придет в Одессу.

Раньше всего в этом городе есть просто материальные условия для того, напр., чтобы возрастить мопассановский талант. Летом в его купальнях блестят на солнце мускулистые, бронзовые фигуры юношей, занимающихся спортом, мощные тела рыбаков, не занимающихся спортом, толстопузые и добродушные телеса «негоциантов», прыщавые и тощие фантазеры, изобретатели и маклера. А поодаль от широкого моря дымят фабрики и делает свое обычное дело Карл Маркс.

В Одессе очень бедное, многочисленное и страдающее еврейское гетто, очень самодовольная буржуазия и очень черносотенная городская дума.

В Одессе, по вечерам, на смешных и мещанских дачках, под темным и бархатным небом, лежат на кушетках толстые и смешные буржуа в белых носках и переваривают сътный ужин. За кустами, — их напудренных, разжиревших от безделья и наивно затянутых жен пламенно тискают темпераментные медики и юристы.

В Одессе «люди воздуха» рыщут вокруг кофеен для того, чтобы заработать целковый и накормить семью, но заработать-то не на чем, да и за что дать заработать бесполезному человеку — «человеку воздуха»?

В Одессе есть порт, — а в порту — пароходы, пришедшие из Нью-кастля, Кардиффа, Марселя и Порт-Саида; негры, англичане, французы и американцы. Одесса знала времена расцвета, знает времена увядания — поэтического, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного увядания.

«Одесса», в конце концов скажет читатель, «такой же город, как и все города, и просто вы неумеренно пристрастны».

Так то так, и пристрастен я, действительно и может быть намеренно, но *parole d'honneur*, в нем что-то есть. И это что-то подслушает настоящий человек и скажет, что жизнь печальна, однообразна — все это верно — но все же, *quand même et malgré tout*, необыкновенно, необыкновенно интересна.

От рассуждений об Одессе моя мысль обращается к более глубоким вещам. Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего радостного, ясного описания солнца?

Тургенев воспел росистое утро, покой ночи. У Достоевского можно почувствовать неровную и серую мостовую, по которой Карамазов идет к трактиру, таинственный и тяжелый туман Петербурга. Серые дороги и покров тумана придушили людей, придушивши — забавно и ужасно исковеркали, породили чад и смрад страстей, заставили метаться в столь обычной человеческой суete. Помните ли вы плодородящее яркое солнце у Гоголя, человека, пришедшего с Украины? Если такие описания есть — то они эпизод. Но не эпизод — Нос, Шинель, Портрет и Записки Сумасшедшего.

Петербург победил Полтавщину, Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицько, а отец Матвей кончил дело, начатое Тарасом. Первым человеком, заговорившим в русской книге о солнце, заговорившим восторженно и страстно — был Горький. Но именно потому, что он говорит восторженно и страстно — это еще не совсем настоящее.

Горький — предтеча и самый сильный в наше время. Но он не певец солнца, а глашатай истины — если о чем-нибудь стоит петь, — то знайте: это о солнце. В любви Горького к солнцу — есть что-то от головы; только огромным своим талантом преодолевает он это препятствие.

Он любит солнце потому, что на Руси гнило и извилисто, потому что и в Нижнем, и в Пскове, и в Казани люди рыхлы, тяжелы, то непонятны, то трогательны, то безмерно и до одури надоедливы. Горький знает, почему он любит солнце, почему его следует любить. В сознательности этой и заключается причина того, что Горький — предтеча, часто великолепный и могучий, но предтеча.

А вот Мопассан может быть ничего не знает, а может быть — все знает: громыхает по сожженной зноем дороге дилижанс, сидят в нем, в дилижансе, толстый и лукавый парень Полит и здоровая крестьянская топорная девка. Что они там делают и почему делают — это уж их дело. Небу жарко, земле жарко. С Полита и с девки льет пот, а дилижанс громыхает по сожженной светлым зноем дороге. Вот и все.

В последнее время приохотились писать о том, как живут, любят, убивают и избирают в волостные старшины в Олонецкой, Вологодской или, скажем, в Архангельской губернии. Пишут все это самым подлинным языком, точка в точку так, как говорят в Олонецкой и Вологодской губерниях. Живут там, оказывается, холодно, дикости много. Старая история. И скоро об этой старой истории надоест читать. Да и уже надоело. И думается мне: потянутся русские люди на юг, к морю и к солнцу. Потянутся — это, впрочем, ошибка. Тянутся уже много столетий. В неистребимом стремлении к степям, даже м.б.... «к кресту на Святой Софии» таятся важнейшие пути для России.

Чувствуют — надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда, — из солнечных степей, обтекаемых морем.

Баб-Эль.

«Журнал журналов», № 51, 1917 г. Стр. 4-5.

БИТЫЕ

Это было неделю тому назад. Все утро я ходил по Петрограду, по городу замирания и скудности. Туман — мелкий, всевластный — клубился над сумраком каменных улиц. Грязный снег превратился в тускло блестящие черные лужи.

Рынки — пусты. Бабы обступили торговцев, продающих то, что никому не нужно. У торговцев все еще тугие розовые щеки, налитые холодным жиром. Их глазки — голубые и себялюбивые — щупают беспомощную толпу женщин, солдат в цивильных брюках и стариков в кожаных галошах.

Ломовики проезжают мимо рынка. Лица их нелепы и серы; брань нудна и горяча по привычке: лошади огромны, кладь состоит из сломанных плюшевых диванов или черных бочек. У лошадей тяжелые мохнатые копыта, длинные, густые гривы. Но бока их торчат, ноги скользят от слабости, напряженные морды опущены.

Я хожу и читаю о расстрелях, о том, как город наш провел еще одну свою ночь. Я иду туда, где каждое утро подводят итоги.

В часовне, что при мертвецкой, идет панихида.

Отпевают солдата.

Вокруг три родственника. Мастеровые, одна женщина. Мелкие лица.

Батюшка молится худо, без благолепия и скорби. Родственники чувствуют это. Они смотрят на священника тупо, выпучив глаза.

Я заговариваю со сторожем.

— Этого хоть похоронят, — говорит он.

— А то вон, у нас лежат — штук тридцать, по три недели лежат, каждый день сваливают.

Каждый день в мертвецкую привозят тела расстрелянных и убитых. Привозят на дровнях, сваливают у ворот и уезжают.

Раньше опрашивали — кто убит, когда, кем. Теперь бросили. Пишут на листочке — «неизвестного звания мужчина» и относят в морг.

Привозят красноармейцы, милиционеры, всякие люди.

Эти визиты — утренние иочные — делятся год, без перерыва, без передышки. В последнее время количество трупов повысилось до крайности. Если кто, от нечего делать, задаст вопрос — милиционеры отвечают: «убит при грабеже».

В сопровождении сторожа я иду в мертвецкую. Он приподнимает покрывала и показывает мне лица людей, умерших три недели тому назад, залитые черной кровью. Все они молоды, крепкого сложения. Торчат ноги в сапогах, портянках, босые, восковые ноги. Видны желтые животы, склеенные кровью волосы. На одном из тел лежит записка:

— Князь Константин Эболи де Триколи.

Сторож отдергивает простирю. Я вижу стройное сухощавое лицо, маленькое, оскаленное, дерзкое, ужасное лицо. На князе английский костюм, лаковые ботинки с верхом из черной замши. Он единственный аристократ в молчаливых стенах.

На другом столе я нахожу его подругу — дворянку Франциску Бритти. Она после расстрела прожила еще в больнице два часа. Стройное багровое ее тело забинтовано. Она также тонка и высока, как князь. Рот ее раскрыт. Голова приподнята — в яростном быстром стремлении. Длинные белые губы хищно сверкают. Мертвая — она хранит печать красоты и дерзости. Она рыдает, она презрительно хохочет над убийцами.

Я узнаю самое главное: трупы не хоронят, потому что не на что их хоронить. Больница не хочет тратиться на похороны. Родных нет. Комиссариат не внемлет просьбам, отговаривается и отписывается. Администрация пойдет в Смольный.

Конечно.

Все там будем.

— Теперь ничего, — повествует сторож, — пускай лежат, погода держит, а как теплота вдарит, тогда всей больницей беги..

Неубранные трупы — злоба дня в больнице. Кто уберет — это, кажется, сделалось вопросом самолюбия.

— Вы были, — с ожесточением доказывает фельдшер, — вы и убийте. Сваливать ума хватает... Ведь их, битых-то, что ни день — десятки. То расстрел, то грабеж... Уж сколько бумаг написали...

Я ухожу из места, где подводят итоги.

Тяжко.

Баб-Эль.

«Новая жизнь», 29 (16) марта, 1918 г., № 54.

«ЭВАКУИРОВАННЫЕ»

Был завод, а в заводе — неправда. Однако в неправедные времена дымились трубы, бесшумно ходили маховики, сверкала сталь, корпуса сотрясались гудящей дрожью работы.

Пришла правда. Устроили ее плохо. Сталь потеряли. Людей стали рассчитывать. В вялом недоумении машины тащили их на вокзалы и с вокзалов.

Покорные непреложному закону рабочие люди бродят теперь по земле неведомо зачем, словно пыль, никем не ценимая.

Несколько дней тому назад происходила «эвакуация» с Балтийского завода. Всунули в вагон четыре рабочих семьи. Вагон поставили на паром — и пустили. Не знаю, хорошо ли, худо ли был прикреплен вагон к парому. Говорят, совсем почти не был прикреплен.

Вчера я видел эти четыре «эвакуированных» семьи. Они рядышком лежат в мертвецкой. Двадцать пять трупов. Пятнадцать из них дети. Фамилии все подходящие для скучных катастроф — Кузьмины, Куликовы, Ивановы. Старше сорока пяти лет нет никого.

Целый день в мертвецкой толкуются между белыми гробами женщины с Васильевского, с Выборгской. Лица у них совсем такие, как у утопленников, — серые.

Плачут скучно. Кто ходит на кладбища — тот знает, что у нас перестали плакать на похоронах. Люди все торопятся, растеряны, мелкие и острые мыслишки без устали буравят мозг.

Женщины более всего жалеют детей и кладут бумажные гриневники на скрещенные малые руки. Грудь одной из умерших, прижавшей к себе пятимесячного задохнувшегося ребенка, вся забросана деньгами.

Я вышел. У калитки, в тупичке, на сгнившей лавочке сидели две согнутые старухи. Слезливыми, бесцветными глазами они глядели на рослого дворника, растапливающего черный ноздреватый снег. Темные ручьи растекались по липкой земле.

Старухи шептались об обыденной своей суете. У столяра сын в красногвардейцы пошел — убили. Картошки нету на рынке и не будет. Грузин во дворе поселился, конфетками торгует, генеральскую дочь-институтку к себе сманил, водку с милицией пьет, денег ему со всех концов несут.

После этого — одна старуха рассказала бабыми и темными своими словами — отчего двадцать пять человек в Неву упали.

— Анженеры от заводов все отъехавши. Немец говорит — земля евонная. Народ потолкался, потом квартиры все побросали, домой едут. Куликовы к матушке на Калугу подались. Стали плот сбивать. Три дня бились. Кто — напился, а другому горько, сидит, думает. А анженеров — нету, народ темный. Плот сбили, отплыл он, все прощаться стали. Река заходила, народ с детишками, с бабами попадал. Вырядили-то хорошо, восемь тысяч на похороны дали, панихиды каково служат, гробы все глазетовые, уважение сделали рабочему народу.

Бабь-Эль.

«Новая жизнь», 13 апреля (31 марта), 1918 г., № 66.

ЗАВЕДЕНИЦЕ

В период «социальной революции» никто не задавался намерениями более благими, чем комиссариат по призрению. Начинания его были исполнены смелости. Ему были поручены важнейшие задачи: немедлен-

ный взрыв душ, декретирование царства любви, подготовка граждан к гордой жизни в вольной коммуне. К своей цели комиссариат пошел путями не извилистыми.

В ведомстве призрения состоят учреждения, неуклюже именуемые: убежища для несовершеннолетних, обвиняемых в общественноопасных деяниях. Убежища эти должны были быть созданы по новому плану — согласно новейшим данным психологии и педагогики. Именно так — на новых началах — мероприятия комиссариата были проведены в жизнь.

Одним из заведующих был назначен никому неведомый врач с Мурмана. Другим заведующим был назначен какой-то мелкий служащий на железной дороге — тоже с Мурмана. Ныне этот социальный реформатор находится под судом, обвиняется в сожительстве с воспитанницами и в вольном расходовании средств вольной коммуны. Прошения он пишет полуграмотные (это директор приюта!), кляузные, неотразимо пахнущие околоточным надзирателем. Он говорит, что «душой и телом предан святыму народному делу», предали его «контр-революционеры».

Поступил сей муж на службу в ведомство призрения, «указав на свою политическую физиономию, как партийного работника-большевика».

Это все, что оказалось нужным для воспитания преступных детей.

Состав других воспитателей: лятышка, плохо говорящая по-русски, окончила четыре класса неведомо чего.

Старый танцовщик, окончивший натуральную школу и тридцать лет пребывавший в балете.

Бывший красноармеец, до солдатчины служивший приказчиком в чайном магазине.

Малограмотный конторщик с Мурмана.

Девица-конторщица с Мурмана.

К призреваемым мальчикам было еще приставлено пять дядек (словцо-то какое коммунистическое!).

Работа их официальными лицами характеризуется так: «день дежурят, день спят, день отдыхают, делают — что сами находят нужным, заставляют мыть полы, кого придется».

Необходимо добавить, что в одном из приютов числилось на 40 детей — 23 служащих.

Делопроизводство этих служащих, многие из которых преданы уже суду, находилось, согласно данным ревизии, в следующем состоянии: большинство счетов не заверено подписью, на счетах нельзя усмотреть, на какой предмет израсходованы суммы, нет подписи получателей денег, в расписках не сказано, за какое время служащим уплачено содержание, счет разъездных одного мелкого служащего за январь сего года достиг 455 рублей.

Если вы явитесь в убежище, то застанете там вот что.

Никакие учебные занятия не производятся. Шестьдесят процентов детей полуграмотны или неграмотны. Никакие работы не производятся.

Пища состоит из супа с кореньями и селедки. Здание пропитано зловонием, ибо канализационные трубы разбиты. Дезинфекция не произведена, несмотря на то, что среди призреваемых имели место десять тифозных заболеваний. Болезни часты. Был такой случай. В 11 часов ночи привезли мальши с отмороженной ногой. Он пролежал до утра в коридоре, никем не принятый. Побеги часты. По ночам детей заставляют ходить в мокрые уборные нагишом. Одежду припрятывают из боязни побегов.

Заключение:

Убежища комиссариата по признанию представляют собой зловонные дыры, имеющие величайшее сходство с дереформенными участками. Администраторы и воспитатели — бывшие люди, нечистоплотные люди, безграмотные люди, примазавшиеся к «народному делу», никакого отношения к признанию не имеющие, в огромном большинстве никакой специальной подготовкой не обладающие. На каком основании они приняты на службу властью крестьян и рабочих — неизвестно.

Я видел все это — и босых угрюмых детей, и угреватые припухшие лица уныльых их наставников, и лопнувшие трубы канализации. Нищета и убожество ныне поистине ни с чем не сравнимы.

Баб-Эль.

«Новая жизнь», 25 (12) апреля, 1918 г., № 76.

СЛЕПЫЕ

На табличке значилось: Убежище для слепых воинов. Я позвонил у высокой дубовой двери. Никто не отозвался. Дверь оказалась открытой. Я вошел и увидел вот что:

С широкой лестницы сходит большой черноволосый человек в темных очках. Он машет перед собой камышовой тросточкой. Лестница благополучно преодолена. Перед слепым лежит множество дорог — тулички, закоулки, ступени, боковые комнаты. Тросточка тихонько бьет гладкие, тускло блистающие стены. Недвижимая голова запрокинута кверху. Он движется медленно, ищет ногой ступеньку, спотыкается и падает. Струйка крови прорезывает выпуклый белый лоб, обтекает висок, скрывается под круглыми очками. Черноволосый человек приподнимается, мочит пальцы в своей крови и тихо кличет: «Каблукова». Дверь из соседней комнаты раскрывается бесшумно. Передо мною мелькают камышовые тросточки. Слепые идут на помощь упавшему товарищу. Некоторые не находят его, прижимаются к стенам и незрячими глазами глядят кверху, другие берут его за руку, поднимают с пола и, понурив головы, ждут сестру или санитара.

Сестра приходит. Она разводит солдат по комнатам, потом объясняет мне:

— Каждый день такие случаи. Не подходит нам дом этот, совсем не подходит. Нам надобен дом ровный, гладкий, чтобы коридоры в нем

были длинные. Убежище наше — ловушка: все ступеньки, ступеньки... Каждый день падают...



Начальство наше, как известно, проявляет особенный административный восторг в двух случаях — когда надо спасаться или бежать. В периоды всяческих эвакуаций и разорительных перетаскиваний, деятельность властей получает оттенок хлопотливости, творческого веселья и деловитого сладострастия.

Мне рассказывали о том, как протекала эвакуация слепых из убежища.

Инициатива пересезда принадлежала больным. Приближение немцев, боязнь оккупации приводила их в чрезвычайное волнение. Причины волнения — многочисленны. Первая из них та, что всякая тревога сладостна для слепых. Возбуждение охватывает их быстро и неодолимо, нервическое стремление к выдуманной цели побеждает на время уныние тела.

Второе основание для бегства — особенная боязнь немцев.

Большинство призреваемых присланы из плена. Они твердо убеждены в том, что если придет немец, то снова заставит служить, заставит работать, заставит голодать.

Сестры говорили им:

— Вы слепы, никому не нужны, ничего вам не сделают...

Они отвечали:

— Немец не пропустит, немец всем работу даст, мы у немца жили, сестра...

Тревога эта трогательна и показательна для психологии вернувшихся пленников.

Слепые попросили повезти их вглубь России. Так как дело пахло эвакуацией, то разрешение было получено быстро. И вот началось главное.

С печатью решимости на тощих лицах, закутанные слепцы потянулись на вокзалы. Проводники рассказали потом историю их странствований. В тот день шел дождь. Сбившись в кучу понурые люди всю ночь ждали под дождем посадки. Потом в товарных вагонах, холодных и темных, они брали по лицу нищего отечества, ходили в советы, в грязных приемных ожидали выдачи пайков и растерянные, прямые, молчаливые — покорно шли за утомленными и злыми проводниками. Некоторые сунулись в деревню. Деревне было не до них. Всем было не до них. Негодная людская пыль, никому не нужная, блуждала подобно слепым щенятам по пустым станциям, ища дома. Дома не оказалось. Все вернулись в Петроград. В Петрограде тихо, совсем тихо.



В стороне от главного здания спрятался одноэтажный домишко. В нем живут особенные люди особенного времени — семейные слепые.

Я разговорился с одной из жен — рыхлой молодой женщиной в капоте и в кавказских туфлях. Тут же сидел муж — старый, костлявый поляк с оранжевым лицом, выеденным газами.

Я расспросил и понял быстро: отупевшая маленькая женщина, русская женщина нашего времени, заверченная вихрем войны, потрясений, передвижений.

В начале войны она «из патриотизма» пошла в сестры милосердия.

Прожито многое: изувеченные «солдатики», налеты немецких аэропланов, танцевальные вечера в офицерском собрании, офицеры в «галифе», женская болезнь, любовь к какому-то уполномоченному, потом — революция, агитация, снова любовь, эвакуация и подкомиссии...

Где-то, когда-то, в Симбирске были родители, сестра Варя, двоюродный брат путеец... Но от родителей полтора года нет писем, сестра Варя — далеко, темный запах родины испарился.

Теперь вместо этого — усталость, расплззшееся тело, сиденье у окна, любовь к безделью, мутный взгляд, тихонько перебирающийся с одного предмета на другой, и еще муж — слепой поляк с оранжевым лицом...

Таких женщин в убежище несколько. Они не уезжают, потому что некуда и незачем. Сестра-надзирательница часто говорит им:

— Не пойму, что у нас здесь... Все сбились в кучу и живем, а жить вам не полагается... Я теперь и названия убежищу не подберу, по штату мы казенное учреждение, а теперь... ничего теперь не понять...



В темной низкой комнате — друг против друга на узких кроватях — сидят два бледных бородатых мужика. Стеклянные глаза их недвижимы. Тихими голосами они переговариваются о земле, о пшенице, о том, какая нынче цена поросятам...

В другом месте дряхлый и равнодушный старичок учит высокого сильного солдата игре на скрипке. Слабые визгливые звуки текут из-под смычки ноющей трепещущей струей...

Я иду дальше.

В одной из комнат стонет женщина. Заглядываю и вижу: на широкой кровати корчится от боли девочка лет семнадцати с багровым и мелким личиком. Темный муж ее сидит в углу на низкой табуретке, широкими движениями рук плетет корзину и внимательно, и холодно прислушивается к стонам.

Девочка вышла замуж полгода тому назад.

Скоро в особенном домишке, начиненном особенными людьми — родится младенец.

Дитя это будет, воистину, дитя нашего времени.

Баб-Эль.

«Новая жизнь», 19 мая 1918 г.

ВЕЧЕР

Я не стану делать выводов. Мне не до них.

Рассказ будет прост.

Я шел по Офицерской улице. Это было 1-го мая, в 10 часов вечера. У ворот одного из домов я услышал крик. В подворотню заглядывали людишки — лавочник, проходивший мимо, внимательный мальчишка-приказчик, барышня с ногами, щекастая горничная, распаленная весной.

В глубине двора, у сарайя, стоял человек в черном пиджаке. Сказать о нем человек — значит сказать много. Он был узкогруд и тонок, паренек лет семнадцати. Вокруг него бегали раскормленные, плотные люди, в новых скрипящих сапогах и вопили тягучие слова. Один из бегающих — с недоумением — наотмашь ударил паренька кулаком по лицу. Тот, склонив голову, молчал!

Из окна второго этажа торчала рука, сжимающая револьвер, и летел быстрый хриплый голос:

— Будь уверен, жить не будешь... Товарищи, израсходую я его... Не можешь ты у меня жить...

Паренек, понурясь, стоял против окна и смотрел на говорившего со вниманием и тоскою. А тот, расширив до предела узкие щели мутных голубых глаз, загорался злобой от нелепого и горячего своего крика. Паренек стоял, не шевелясь. В окне блеснуло пламя. Звук выстрела прозвучал подобно мощной, бархатной ноте, взятой баритоном. Покачиваясь, парень отошел в сторону и прошептал:

— Что же вы, товарищи, Господи...

Я видел потом, как его били на лестнице. Мне пояснили: бьют комиссары. В доме помещается «район». Мальчишка — арестованный, пытался улизнуть.

У ворот все еще стояла щекастая горничная и заинтересованный лавочник. Избитый посеревший арестант кинулся к выходу. Завидя бегущего — лавочник с неожиданным оживлением заклекнул калитку, подпер ее плечом и выпучил глаза. Арестант прижался к калитке. Здесь солдат ударил его прикладом по голове. Прозвучал скучный заглушенный хрип:

— Убили...

Я шел по улице, сердце побаливало, отчаяние владело мной.

Все избивавшие были рабочими. Никому из них не было более тридцати лет. Они поволокли мальчишку в участок. Я проскользнул вслед за ними. По коридорам крались широкоплечие багровые люди. На деревянной скамейке, сжатый стражей, сидел пленник. Лицо у него было окровавленное, незначительное, обреченное. Комиссары сделались деловитыми, напряженными, неторопливыми. Один из них подошел ко мне и спросил, глядя на меня в упор:

— Что надо? Убрайся вон.

Все двери захлопнулись. Участок отгородился от мира. Наступила тишина. За дверью отдаленно звучал шум сдержанной суеты. Ко мне приблизился седенький сторож.

— Уйди, товарищ, не ищи греха. Его уж прикончат, виши заперлись.

Потом сторож добавил:

— Убить его мало, собаку, не бегай в другой раз.

В двух углах ходьбы от участка, мне бросился в глаза ярко освещенный ряд окон кафе. Оттуда доносилась сладостная музыка. Мне было грустно. Я вошел. Вид зала поразил меня. Его заливал необычайный свет мощных электрических ламп, — свет яркий, белый, ослепительный. У меня зарябило в глазах от красок. Мундиры — синие, красные, белые — образовывали цветную радостную ткань. Под сияющими лампами сверкало золото эполет, пуговиц, кокард, белокурые молодые головы, черный блеск крепко вычищенных сапог светился недвижимо и точно. Все столики были заняты германскими солдатами. Они курили длинные черные сигары, задумчиво и весело следили за синими кольцами дыма, пили много кофе с молоком. Их угожает растроганный рыхлый старый немец: он все время заказывал музыкантам вальсы Штрауса и «Песню без слов» Мендельсона. Крепкие плечи солдат двигались в такт с музыкой, светлые глаза их блестали лукаво и уверенно. Они охорашивались друг перед другом и все смотрелись в зеркало. И сигары, и мундиры с золотым шитьем совсем недавно были присланы им из Германии. Среди немцев, глотавших кофе, были всякие: скрытые и разговорчивые, красивые и корявые, хохочущие и молчаливые, но на всех лежала печать юности, мысли и улыбки — покойной и уверенной.

❖❖❖

Наш северный, притихший Рим был величествен и грустен в эту ночь. Впервые в нынешнем году не были зажжены огни. Начались белые ночи.

Гранитные улицы стояли в молочном тумане призрачной ночи и были пустынны. Темные фигуры женщин смутно чернелись у высоких свободных перекрестков. Могучий Исаакий высказывал единую непреходящую легкую каменную мысль. В синем сумрачном сиянии видно было, сколь чист гранитный и мелкий узор мостовой. Нева, заключенная в недвижимые берега, холодно ласкала мерцание огней в темной и гладкой своей воде.

Молчали мосты, дворцы и памятники, опутанные красными лентами и изъязвленные лестницами, приготовленные для разрушения. Людей не было. Шумы умерли. Из редеющей тьмы стремительно наплывало яростное пламя автомобиля и исчезало бесследно.

Вокруг золотистых шпилей вилось бесплотное покрывало ночи. Безмолвие пустоты таило мысль — легчайшую и беспощадную.

Баб-Эль.

«Новая жизнь», 21 (8) мая 1918 г., № 95.

ЕЕ ДЕНЬ

Я заболел горлом. Пошел к сестре первого штабного эскадрона дивизии. Дымная изба, полная чаду и вони. Бойцы развалились на лавках, — курят, почесываются и неистово сквернословят. В уголку приютилась сестра. Одного за другим, без шума и лишней суеты она перевязывает раненых. Несколько озорников мешают ей всячески. Все изошьряются в самой неестественной, кощунственной брани. В это время — тревога. Приказ: по коням. Эскадрон выстроился. Выступаем.

Сестра сама взнудала своего коня, завязала мешочек с овсом, собрала свою сумочку и поехала. Ее жалкое холодное платьице треплется по ветру, сквозь дыры худых башмаков виднеются иззябшие красные пальцы. Идет дождь. Изнемогающие лошади едва вытаскивают копыта из этой страшной засасывающей липкой волынской грязи. Сырость пронизывает до костей. У сестры — ни плаща, ни шинели. Рядом загремела похабная песня. Сестра тихонько замурлыкала свою песню — о смерти за революцию, о лучшей нашей будущей доле. Несколько человек потянулось за ней, и полилась в дождливые осенние сумерки наша песня, наш неумолкающий призыв к воле.

А вечером — атака. С мягким зловещим шумом лопаются снаряды, пулеметы строчат все быстрее, с лихорадочной тревогой.

Под самым ужасным обстрелом сестра с презрительным хладнокровием перевязывала раненых, тащила их на своих плечах из боя.

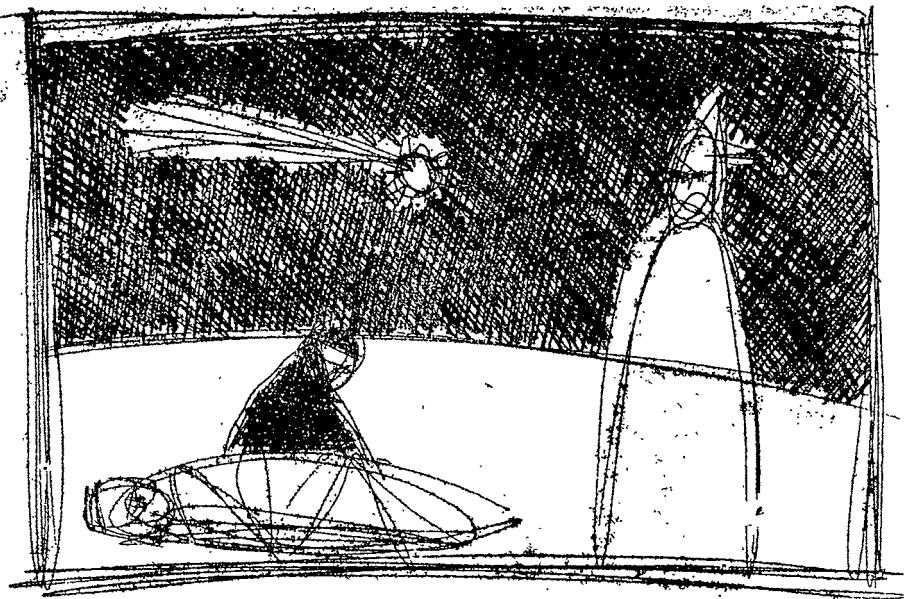
Атака кончилась. Опять томительный переход. Ночь, дождь. Бойцы сумрачно молчат, и только слышен горячий шепот сестры, утешающей раненых. Через час — обычная картина — грязная темная изба, в которой разместился взвод, и в углу при жалком огарке сестра все перевязывает, перевязывает, перевязывает...

Брань густо висит в воздухе. Сестра, не выдержав, огрызается, тогда над ней долго хохочут. Никто не поможет, никто не подстелет соломы на ночь, не приладит подушки.

Вот они наши героические сестры! Шапку долой перед сестрами! Бойцы и командиры, уважайте сестер! Надо, наконец, сделать различие между обозными феями, позорящими нашу армию, и мученицами-сестрами, украшающими ее.

К.Лютов

«Красный кавалерист», № 235, 19 сентября 1920 г.



ХУДОЖНИК МАТВІЙ ВАЙСБЕРГ

Матвієві — 38 років. Закінчив Республіканську художню школу, поліграфічний інститут. Починав з виставок на карнавальному Андріївському узвозі й у славнозвісній «трубі» — підземному переході на Хрещатику, де продавали свої твори київські неформали. Перебудовчі 80-ті стали періодом розквіту вуличного «київського Монмартру», доки вітчизняні та іноземні меценати не відібрали з-поміж маси вправних ремісників справді самобутніх художників, надавши їм цивілізованіші умови для існування.

Матвій Вайсберг виріс на хвилі «нової генерації», офіційно не осліпленої. Його персональною виставкою у Києві навесні 90-го року опікувалося об'єднання «Ойкумена», з успіхом пройшли вернісажі у шведській галереї східноєвропейського мистецтва, у Польщі, Угорщині.

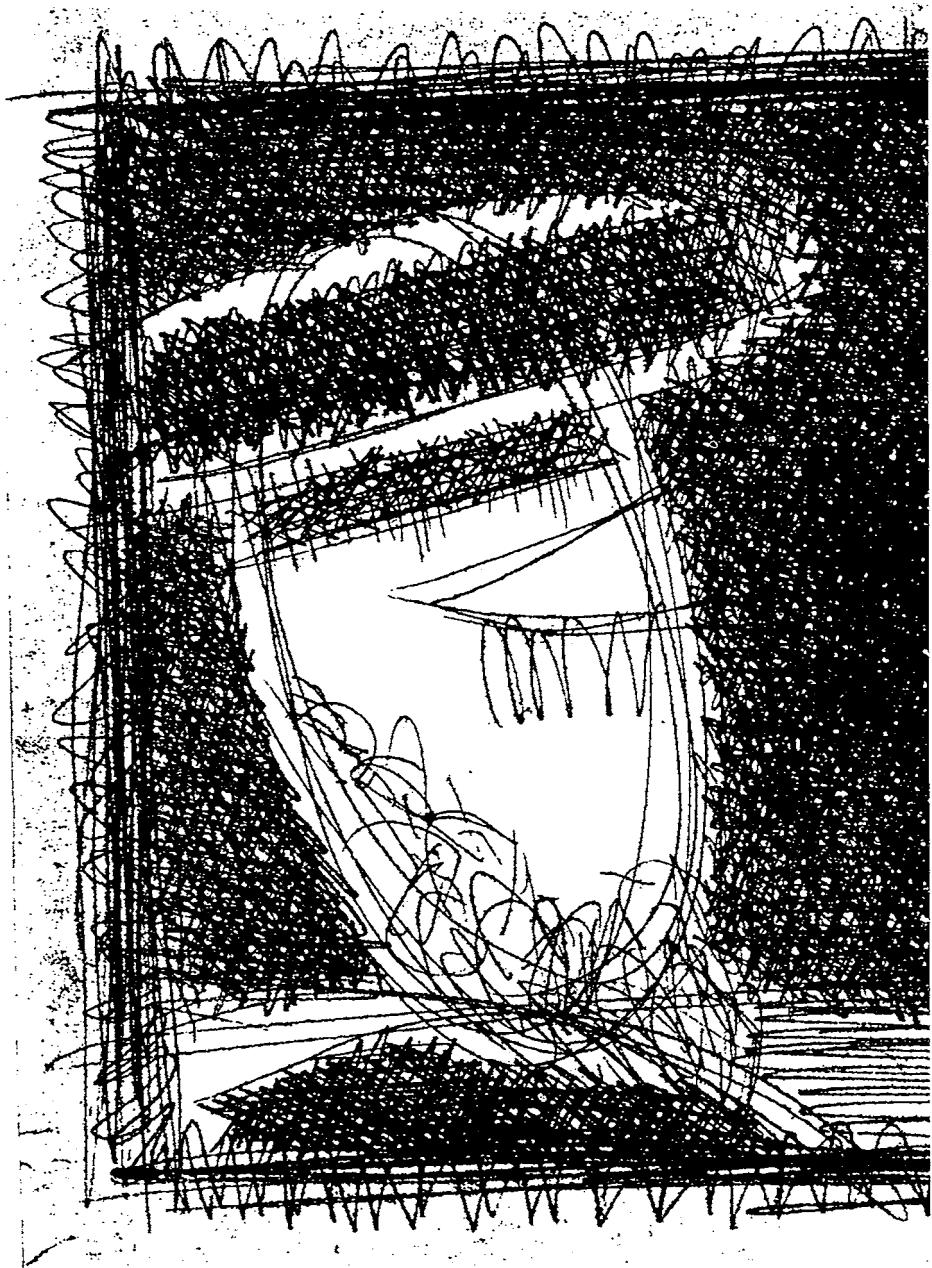
У творах митця бентежить незвичайний поклик часу, минувше й майбутнє відзеркалюють однієї однієї, перспектива майбуття вже містить у собі перспективу минулого. І — головне — чуття культури, невіддільне від національної стихії, як здатність для відновлення таємного процесу духовного вмірання і відродження. В його картинах величний мелос Талмуду поєднаний із щемливим звуком скрипки Шолом-Алейхема. Його улюблений вислів з Біблії, з Екклезіаста: «Уболівання країні за веселощі, бо смуток лиця є окрасою серця».

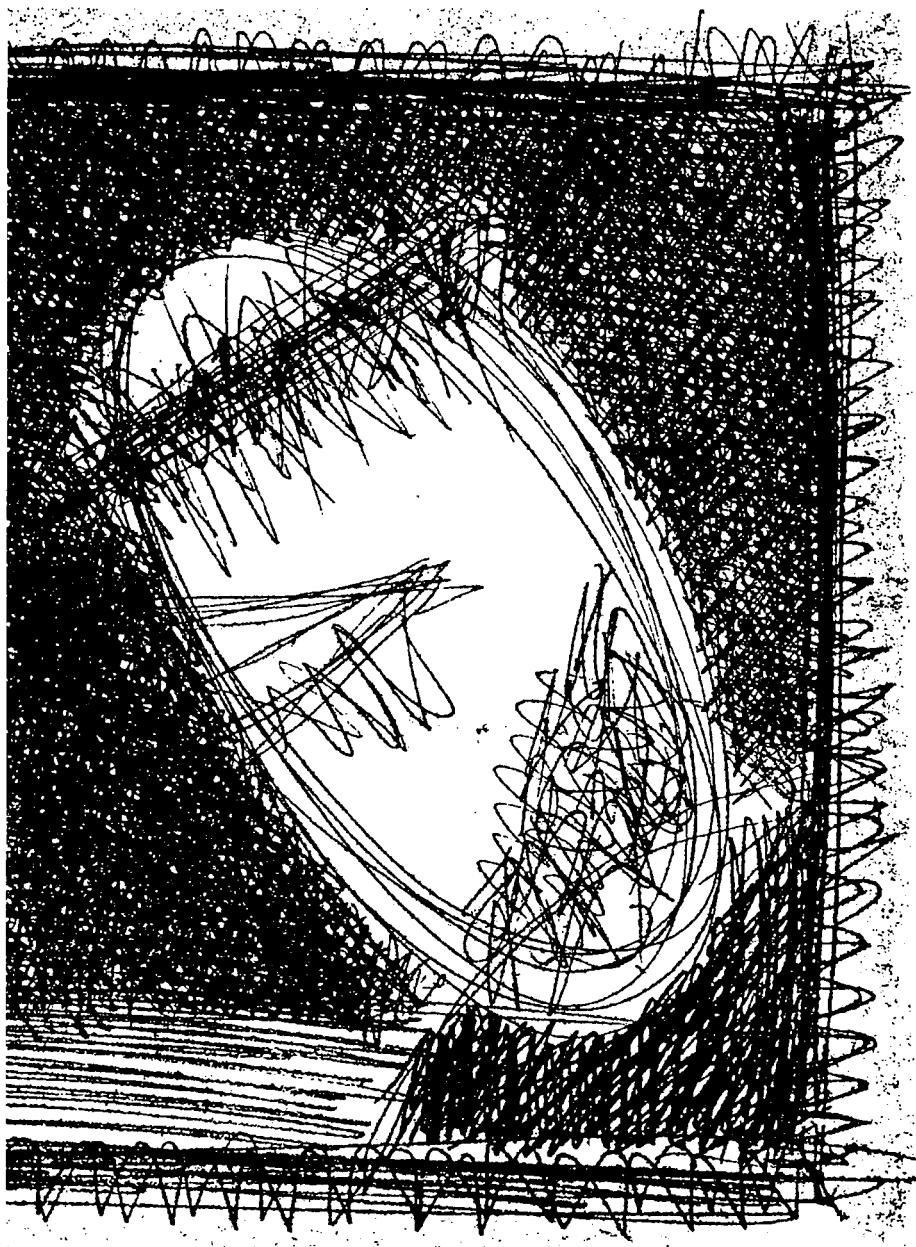
Сьогодні «Єгупець» подає кілька нових графічних робіт Матвія Вайсберга — ілюстрацій до «Конармії» І.Бабеля.

Ольга Пушкарьова























Михайло Литвинець

Михайло Литвинець — відомий український поет і перекладач, знавець багатьох мов, в тому числі — майже всіх єврейських (ладіно, ідіш, івріт). Цикл пропонованих сонетів є свідченням глибокої цікавості М.Литвинца до єврейської теми, віри його у взаємозбагачення культур.

БІБЛІЯ І КОБЗАР

Мойсей гебреїв вивів із полону,
 Їм книгу дав... Той Заповіт Старий
 І ми взяли ще з княжої пори,
 Збагнувши святість Божого закону.

Царям Шевченко не скоривсь до скону
 І дав нам думу... Нас женуть вітри
 Вже від руїн нового Вавилону,
 А ми гнемось, як в бурю явори.

Спасло гебреїв слово, ѿ величаву
 Вони, як храм, створили знов державу...
 О мій народе, чи свободи жар

В собі погасиш, занедбаєш мову
 І, як німий, в неволю підеш знову?!

А в тебе ж є і Біблія, ѿ Кобзар!

ДАВИДОВІ ГОФШТЕЙНУ

Давиде, хліборобе із Волині,
 Який тут звідав щастя і біду,
 Над Вашим віршем я схилиюсь нині,
 Удалъ, мов по ріллі, рядками йду.

Я знов у них поезію знайду,
 Немов безсмертий в рідній нам долині,
 Де ждуть іще на Вас меди полинні
 Та яблука рум'яниться в саду.

Гебрею український, мій земляче,
Якого Рильський братом називав,
За Вами над Дніпром і досі плаче

І ронить листя жовте, аж гаряче,
Верба українська серед жухлих трав,
Яку Шолом-Алейхем оспівав.

ДОРОГОЮ ЧЕСТІ

Пам'яті Переца Маркіша

Він був з одкритим серцем, наче кратер,
Святим вогнем поезії палає
І гнув горба, як волиняк-оратар, —
Гебрей, який ім'я іспанське мав.

Коли червоний вже асимілятор
Усіх підряд гнітив, немов удав,
То мame ідише — кохану матір
Поєт у рідній Музі прославляє.

Біблійні літери на чистий аркуш
Пускав, як тих мурашок, Перец Маркіш
І, як вони, беріг девіз: Роби!

Його життя — важка дорога честі,
Де він зумів гебрейський біль пронести
В осяянні іспанської журби.

СЕРЕД БОЖОГО ЛІТА

На світі є щасливий час тепла,
Який голубить всіх людей, мій Боже,
Коли здається, що немає зла,
І плине в осінь літечко погоже.

Село, і поле, і місто — все ж бо схоже
На той біблійний рай, де ти жила,
Праматір наша Єво, і не може
Тебе тисячолітня вкрити мла.

І яблука несе нам Боже літо;
ЗоряТЬ з-під листя сливи золоті,
Мов твої очі, мила Суламіто!

І знов усі ми — гарні й молоді,
І чуєм, як гучить в саду над нами
Шір-га-шірім — ця Пісня над піснями.

К 100-летию Исаака Кипниса

В декабре 1996 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного человека и писателя Исаака Наумовича Кипниса (1896-1974).

Судьба его, как и у почти всех еврейских писателей его поколения, оказалась мучительной. И дело не только в том, что в июне 1949 г. он был осужден по печально знаменитой 58-й статье «за еврейский буржуазный национализм» и провел в лагере под Караганой более 5 лет. Ему пришлось пережить и фактически полный запрет на еврейскую литературу вообще, тотальное изгнание еврейской традиции и культуры из жизни народа.

Обо всем этом читатель узнает из написанных специально для «Егупца» воспоминаний Риталия Заславского. Особый интерес представляет никогда ранее не публиковавшийся маленький рассказ И. Кипниса «Дім мій — друг мій», предоставленный редактором дочерью писателя Беллой Исааковной Кипнис.

Риталий Заславский «ВСЕ ВО МНЕ УЛЫБАЕТСЯ» (Из воспоминаний об Ицике Кипнисе)

Однажды, году в сорок шестом, может быть, в сорок седьмом, мы с Эмкой Манделем, будущим Наумом Коржавиным, и нашей новой приятельницей Людой Титовой забрали на заседание литобъединения при СПУ. Было скучно и весело. Странно, да? Но именно так и было. Литобъединение было скучным, а мы веселыми. Молодость! Мы говорили там всякое, эпатировали себя и других, насмешничали. Помню, один автор сверхпосредственных вирш, защищаясь от критики, глубокомысленно изрек: «Еще Пушкин сказал: поэзия должна быть глуповатой!» Эмка отреагировал мгновенно: «Почему же вы, в таком случае, не гениальный поэт?» Словом, мы ревзились, как могли.

А в дверях стоял седой человек с добродушной улыбкой на полном круглом лице. Мы его не заметили, а он, оказывается, с любопытством наблюдал за нами. И когда нас за вольнодумство и дерзость изгнали из святая святых, то бишь, из литобъединения, Ицик Нухимович вышел следом за нашей компанией и спросил: «Кто вы, мальчики? Вы (он показал на Эмму) напоминаете мне молодого Багрицкого, а Вы (он кивнул в мою сторону) похожи на молодого Пушкина!» Эмма терпеть не мог Багрицкого, а я тогда не слишком ценил Пушкина — так что комплиментарное сравнение нас не очень тронуло, скорее раздражило. Но все же мы познакомились со стариком; и я, и Люди Титова (а позже и Лина Костенко) стали бывать у него в доме. Уютная, очень чистенькая комната, заставленная шкафами с книгами, испещренными вязью непонятных иудейских письмен, казалась таинственной, отстало-средневе-

ковой. Неужели сегодня можно писать на этом языке? Кому он понятен? Кому нужен? Ну, разве что некоторым старикам в глухих местечках. Вот вымрут они, а дальние что? Евреи ведь все русифицированы: говорят по-русски, думают по-русски, пишут по-русски. И сам Кипнис казался нам просто чудаковым стариком, мирно доживающим свою жизнь в другом, не своем веке, в другом, не своем царстве-государстве. Мы искренне жалели его и, конечно, ничего такого не говорили ему, а он давал нам читать свои книги, изданные в двадцатых годах на русском языке. Они даже у него оставались уже в одном-единственном экземпляре, и Ицик Нухимович аккуратно вставлял обложку в самодельный домашний переплет из газеты и застенчиво просил бережно переворачивать страницы. Помнится, в книгах рассказывалось о местечке в годы гражданской, о погромах. Я добросовестно прочитывал их, но мне было неинтересно. Все описываемое Ициком Кипнисом казалось далеким прошлым, которое никогда не повторится, оно забыто и никого давно не волнует. Зачем же об этом писать так подробно, с такой тщательностью воскрешать мелочи нелепого местечкового быта? Когда я возвращал очередную книгу, Кипнис благодарил и никогда не спрашивал о впечатлении. Наверное, он догадывался, каким он представляется нынешним взъерошенным юношам, и предпочитал оставаться с ними в самых добрых, но достаточно индифферентных отношениях.

И когда загремела космополитическая гроза, мы немало были удивлены, что и наш Ицик Нухимович тоже в чем-то виноват — уж таким он казался нам несовременным, таким не причастным к чему бы то ни было в сегодняшней жизни. А его поносили, исключали из Союза писателей, лишали средств к существованию. И наступила пора, когда мы зачастили к нему не с рукописями, а с кульком муки или макарон, а то и с буханкой хлеба. Он ни от чего не отказывался, только улыбался своей доброй улыбкой и печально разводил руками. Как-то Люда Титова стала возмущаться происходящим, Ицик Нухимович деликатно прикоснулся кончиками пальцев к ее колену и сказал с мягким еврейским распевом в голосе: «Людочка! В Советском Союзе, как известно, пятьдесят процентов населения стукачи. Нас двое: значит, или вы, или я. Так что не надо об этом говорить!» Осторожность не спасла его, он пересек и арест, и тюрьму, и ссылку. Слава Богу, остался жив... Как-то я очутился в Союзе писателей и своими ушами слышал, что о нем говорили с трибуны! Он не заципался, слушал и молчал. Там же и в то же время я в первый и в последний раз увидел Давида Гофштейна. Человека великого таланта и великой рассеянности. Рассказывают, что входя в трамвай, он снимал галоши и шляпу. Кому и какое зло мог причинить такой человек? Он сидел, подперев ладонью щеку, и тоже внимательно слушал, лицо его выражало искреннее недоумение. Он, видимо, всерьез пытался понять, в чем же он виноват. Не понял. Тогда он открыл маленький чемоданчик, лежавший у него на коленях, и сказал приблизительно следующее: «Вот мои книги. Они изданы в Англии и в Америке. Если вы не хотите меня издавать, не надо; но зачем же так ругать меня?» Наверное, то же самое мог бы сказать Ицик Нухимович. Давид Гофштейн был расстрелян во дворе Лубянской тюрьмы вместе с другими лучшими еврейскими писателями. По сути, в этот день, 12 августа 1952 года, была расстреляна еврейская советская культура. Я не стану перечислять имена, этот мартиролог известен всем.

Никогда не забуду газет той поры. Особенно литературных. Эти псевдонимы и раскрываемые в скобках фамилии как нечто крамольное, злоумышленное. Эти доклады. Эти реплики из зала. Эти аплодисменты.

Надо было обладать характером и очаровательным простодушием Кипниса, чтобы в подобной ситуации не утратить спасительное чувство юмора; в ту пору Ицик Нухимович говорил: «Никто меня не жалеет, так я сам себе иногда повторяю: Ицик, ты такой хороший!»

Его тюремные и лагерные письма исполнены такого же простодушия и, как ни странно, жизненной радости. Да, плохо, но могло быть еще хуже! — как бы неутомимо утешается он. Кипнис не утрачивает интереса ко всему обыденному, к той ежедневной жизни, из которой он был так бесцеремонно вышвырнут, изъят. Трудно поверить, что эти письма пишет человек, которого таскают на допросы, бессмысленно тиранят и просто непрерывно грозят смертью.

Он пишет сестре: «Я бодр. Эта штука хорошо и благоприятствует во всех случаях...» — «Привет старому Дрейзику, Мане и Мине, Рыльским, Кочергам, Фросе, Фейге и Елене». Вздыхает: «Хорошо было бы одно письмо из пяти писать на родном языке: может, придет». И спохватывается: «Только ничего лишнего!» Подразумевается, «ничего лишнего» не писать. Но какова невинная открытость текста!

«Сердце стареет, портится», — сообщает он родным. И тут же добавляет: «Но духом я бодр, праздничен!»

С окончанием следствия и переездом на постоянное место ссылки в Спасск, под Карагандой, Ицик Нухимович преображается, можно подумать, что он вообще отпущен на волю: «Все во мне улыбается!» — восклицает он в одном из писем. А в другом прорывается неожиданно: «А в Веру я все еще влюблён!»

Его по-прежнему занимает природа: «Лето у нас странное — частые дожди и холода». И шутливо подписывается: «Ваш, как всегда, первый лентяй в губернии». Материальные трудности его не очень трогают, он полагается, несмотря ни на что, на разумность течения жизни: «Бог даст ЛЭБН и даст ЦУМ ЛЭБН», т.е. если Бог даст жизнь, то даст и что-то необходимое ДЛЯ ЖИЗНИ.

Читая письма Кипниса, я невольно вспоминаю статью о нем в старом томе «Литературной энциклопедии», там была фраза о его «органически-наивном мировоззрении», так оно и есть. Именно это свойство натуры помогло ему в жестоких жизненных коллизиях! Сколько оказалось в этой спасительной простоте мудрости! Какое терпение! Какая спокойная стойкость!

В свободное время он увлекается играми: нардами, шашками, шахматами. Это скрашивает жизнь, отвлекает.

В ссылке Ицик Нухимович Кипнис живет теми же интересами, которыми жил бы, наверное, в родном Киеве. Друзья, знакомые, дети писательского дома занимают его воображение, он хочет знать все и обо всех.

«Пускай Вера напишет про семью Ватули и Зямы*. Читая в газете о похоронах артиста Шумского, я вспомнил о моих соседях, давно о них ничего не слышал».

* Зяма — художник Зиновий Толкачев.

«Бывает ли у вас Карпо и залечил ли он свою язву? Если летом Вам захочется отдохнуть в Святошине, зайдите на Петропавловскую, 75. И если вы скажете старому Сахаруку, что Саша*, его внук, наш приятель и хороший знакомый, они Вам предоставят лучшую комнату».

«Читал в газете, что умер Иван Антонович Кочерга. Пишет ли вам жена бояни Герша из Черновиц? Куда ездил Абраша Елегин и вернулся ли он на старую службу? Что слышно у Фейги и у Клары? Фейга очень состарилась? А Ливия как выглядит? Ливию я люблю... Как Фрося? Рафа**? Жена Городского мне снилась несколько раз живою».

«Я почему-то все утро думал о детях нашего двора. Наверное, уже подросли, а некоторые возмужали. Буба, Роксана, Нюня с девятьми, Дорочка с девятьми, Зорик, Валя с мамой, Богдан, Бима, Оксана, Мая и ее большая мать, Новосельские, Зямины дети, Рома Кочерга, Мокреевские дети, Вова с мамой, Лиза с мамой. Девочка Пели, Этин Фима, Ира Кларина, Фима и Ляля из парадного. Как живут Улита и Мустафа, хорошие люди. Девочка Собко и Громовых, Усенки-дети? Чем-то об их отце ничего не слышно, он ведь плохого здоровья. Как Фрося? Вот если Вам время позволит, напишите о каждом понемногу». Еврейско-украинский писательский мир весь как на ладони, все знают всех, сострадают, дружат.

И вдруг в конце письма: «У старшей сестры спросите, читают ли Галэл в праздник Хануко. Если читают, то полностью или сокращено?»

После смерти Сталина появляются надежды на освобождение, старому писателю начинают сниматься щемящие-сладкие, непонятные сны. «В первой половине ночи мне снилось, что я, по какому-то делу, стою около Екатерины Николаевны***. Она во дворе своего дома хозяйничает. Бросила еще не потухшую спичку, потом стала что-то искать, шарить в траве. Одна из куриц, ходившая рядом, подняла горевшую еще спичку за черенок. «Дорогая моя!» — сказала Екатерина Николаевна и вынула у нее из клюва спичку, которая вот-вот дрогнет, и стала рассматривать листочек, вынутый из кастриоли. Екатерина Николаевна спросила, какое у меня к ней дело, и опять увлеклась своей стряпней. А из комнаты донесся голос Бебелы, она спросила: «Что? За набойки 2-50?» Она сказала это, чтобы сказать что-нибудь, т.к. была занята, сказала между прочим, чтобы не было мне скучно».

О снах в письмах этой поры рассказывается часто и со значением: «Во второй половине ночи мне снилось, что мы с тобой куда-то дружно идем, держимся по-детски за руки, ладонь в ладонь. Я тебе что-то рассказываю, ты весела, и мы — одно целое. Главное же — мы молоды!»

Он пишет сестре: «Никогда ничего не имел и был богат!»

Не только сны — и воспоминания наполняют его существование смыслом, прошлое так же реально, как настоящее, даже более реально порой: «...я себя страшиваю, на когда еще я откладывал поездку в родное местечко? Не поехал я и не отыскал место, где покоятся прах отца, вместе с которым выпил эту роковую чашу. Заодно посиел бы и у могилы мамы. Я не хочу этим сказать, что никогда себе не прощу того или

* Саша Сахарук — отбывал заключение вместе с Кипниром.

** Фейга — вдова Давида Гофштейна. Клара — жена Матвея Таллаласвского. Ливия — дочь Давида Гофштейна. Рафа — писатель Рафаил Скамаровский.

*** Екатерина Николаевна — жена Максима Рыльского.

другого, хочу сказать иное: если Бог даст и вернусь домой, то в первую очередь должен выкроить время на эту поездку. Это поездка не деловая, а нужная мне, ум и сердце этого хотят и требуют».

Бывают нелады с почтой, и тогда посыпают такие воспоминания: «Были времена, когда получал письма от дочери из действующей армии, и там тоже оказался перерыв (мириться с таким положением не было никакой возможности)…» И в другом письме: «Дочь моя! Если бы ты знала, как мне недостает *твоего* слова. В нем я вижу и тебя, и себя, и дом наш, и среду нашу. Главное — состояние *твоего* духа! Когда ты из армии мало писала, я написал в твою часть — и ты отозвалась (как электрический звонок, когда нажимаешь кнопку), но кому мне теперь писать? Кому жаловаться?»

Ицик Кипнис просит регулярно присыпать ему украинскую литературную газету. Вспоминает писательский клуб: «Я любил бывать там».

Когда связь с домом, с Киевом не нарушается, Ицик Кипнис счастлив, ему, кажется, больше ничего и не нужно. Он пишет много и подробно по всячому, казалось бы, пустяковому поводу, он не нахваляется своими корреспондентами: «Когда Бог делил между людьми родственников, он нас не обошел и не обидел: это не родственники, а радость (клубника в сметане с сахаром)!» И еще: «Мне только не хватает своего родного угла, своих книг, возможности посетить, при желании, молельню… Ничего, я все-таки рад, что есть жив и могу радоваться на молодую зелень, на необыкновенно красивое небо…» Лукавая улыбка все время озаряет его лицо, он пишет средней сестре Броне: «Дорогая Брохэл! Ты что-то не ладишь с мягким знаком. Глаголы будущего времени: влюбляться, трудиться, нравиться, — ты пишешь без оного. Даже свинью ты ограбила и пишешь „свине“. Делаю тебе замечания». И с торопливой деликатностью продолжает: «А у меня ошибки разве не прокрадываются? Сколько угодно! Ты способнее и работоспособнее меня! И шить, и кроить, и лепить, и ребят воспитывать умеешь, и мало ли что еще, чего не освоить мне и с чем не справиться мне же никогда! А я еще, миштейнгезохт*, мужчина!»

Однако, несмотря на свою всячески декларируемую лень, Ицик Кипнис в ссылке берет у какого-то старика уроки русского языка!

Он по-детски экспансивен: «От Бобэле миразлайн** хорошая открытка. Я открытку целовал!»

Чем от только не интересуется в письмах: «Едите ли вы уже молодую картошку? Я вчера вспоминал, как папа 9-го аба*** постился. Под конец дня мама сходила на большой огород, накопала молодой картошки. Мы, дети, ей помогали, захватили охапку свежескошенной травы для коровы. Потом я с папой ходил в местечко на вечернюю молитву. Забыл прибавить, что днем школьники ходили за город по орехи».

Он дорожит колоритным бытом давних лет и просит одну из своих сестер: «Пиши свои воспоминания местечковые. Пиши, когда свободна, и не брезгуй мелочами. Потом отберем!»

* Миштейнгезохт — так сказать.

** Миразлайн — дай ей Бог (в данном контексте. Р.З.).

*** Аба — июль.

Трудно поверить, что такое пишет человек в ссылке, что это его занимает, имеет душевное значение: «То, что Бэба не красит губы, — для меня неимоверное счастье!»

Ему немного нужно для себя, он готов довольствоватьсь малым. Но он — не аскет: «Живется мне, слава Богу, хорошо. Не откажусь, если будет еще лучше...»

И снова он радуется тому, что незатейливо принадлежит всем и никому: «Весенний, редкий дождик нас поливает вчера и сегодня. Хотя и пасмурно на дворе, но на душе хорошо и спокойно». «Я конца не боюсь, — писал Ицик Кипнис, — только бы избежать болезни. Наверное, помните мою старую молитву: «Убереги меня, Боже, от подлости и пошлости, даже нечаянной». И как вздох, как последняя мечта: «Очень хочется пройти путь без зла и напасти!»

Приближается время освобождения, он сдерживает нетерпение — и свое, и близких: «Из моего приезда не делайте спешки. Спокойствие! Когда совершился, тогда и будет». — «Может быть, Бог даст в ближайшие 2-3 месяца повадиться нам». И снова: «Время торопить пока незачем». И в другом письме: «Сегодня исполнилось три недели, как я поступил по актировке. Сактируют меня или нет, сам не знаю. Я не придаю этому большого значения».

Поразительно, но его занимают совсем другие вещи: «Войдя во двор, солнышко встретило меня и очень мило обласкало и приветствовало с наступающим праздником. Я удивлен: почему же письмо получилось столь пресным? Все вокруг облито солнцем. Так ясно, так светло, так легко на душе! — Ну, смотри! — говорю я сам себе, — написал шонотойвэ* и все?! А почему не упомянул родной местечковый дом? Отца и мать? Милую детвору? А синагоги и молельни! Как улочки овеяны праздником! О милые мои! Я искупался в воспоминаниях нашего детства и захотел поделиться с Вами! Приветствуйте больших и малых и скажите им, что мне мало благословлять их и праздновать с ними вместе — особенно вдали, на расстоянии».

Наконец наступило долгожданное освобождение: «Мои дорогие и любимые! Я сижу в ресторане на вокзале. Сижу, как всегда, местечковый, провинциальный, без денег. Заказал немного лапши. На один рубль. Вышел голодный. Но: «Такий з дому вийхав».

Итак, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда УССР от 21 июня 1957 г. сообщила, что постановление особого совещания от 25 января 1950 г. отменено, а дело в отношении Кипниса Исаака Нухимовича прекращено «за отсутствием состава преступления». А как же быть с этими семью годами за решеткой, в ссылке, вдали от близких и родных? А как же перечитывать теперь казенные фразы уверенных, постоянных ответов на отчаянные заявления, на нижайшие просьбы о помиловании — «оснований для пересмотра дела нет», «осужден правильно» и т.п.? Можно утешаться только тем, что другим было хуже, чем ему, Ицику Кипнису, еще повезло: все-таки остался в живых.

Впереди — семнадцать лет жизни, работы, общений с друзьями. Он живет в том же доме, ходит по тем же улицам. Как будто и не было того, что было.

* Шонотойвэ — С Новым годом!

Как-то я зашел к нему. Он заговорил о начавшейся в то время европейской эмиграции в Палестину. Мы говорили по-русски, но он почему-то употребил украинское слово «пошесть». Может быть, он просто не мог вспомнить русское слово «поветрие»? Мне показалось, что Исаак Нухимович относится к эмиграции настороженно-осторожно. «Пошесть!» — говорил он. И я не мог понять эмоционального оттенка этого слова в его устах. Констатация факта? Осуждение? Что ему мерешилось? Чего он опасался? Как бы стал к этому относиться со временем? Сейчас? Может быть, его мучили советские иллюзии? Может быть, он не был откровенен со мной? Впрочем, человек с такой улыбкой вряд ли мог бы скрывать.

Прошло еще немного времени. Мы столкнулись на улице, и он сказал, что как раз собирается звонить мне. «Я хотел бы, — сказал Ицик Нухимович, — чтобы вы перевели несколько моих миниатюр». — «Но я не перевожу прозу!» — «Знаете, — улыбнулся Кипнис, — это что-то вроде стихотворений в прозе, есть такой жанр». Снова улыбнулся: «Как у Тургенева...» Смутно посмотрел на меня и добавил: «Я предлагал переводить разным людям, они соглашались, но почему-то вскоре умирали...» Я не устрашился, ибо не был тогда особенно суеверен. К тому же рок всегда притягателен: холодок испытания морозной струйкой пробежал по спине. Я пообещал зайти через несколько дней и забрать эти миниатюры. Судьба однако распорядилась иначе. Встреча просто не состоялась: Исаак Нухимович заболел, оказался в больнице, умер.

Когда вспоминаешь любого человека, всегда всплывает самое характерное в нем — в словах, движениях, поступках. В Ицике Кипнисе самым запоминающимся (по крайней мере, для меня) осталась его чарующая улыбчивость. Помните, как он написал в письме из ссылки: «Все во мне улыбается....» Так оно и было, наверное. Таким он и был.

1994

Ісаак Кіпніс

ДІМ МІЙ — ДРУГ МІЙ

Я починаю дрімати, і все в мені потроху засинає. Лише якась часточка моого мозку не спить, і кров моя тихо лине по венах до серця. Віщук денний гамір. Все прибрано. Двері замкнені. Світло згасло. І здається: дім мій спить.

Дім? Деревина, камінь та глина? Скло у шибках? Гвинти та цвяхи в наличниках? Повстю прокладені стіни? Тільки ж мною зігривається ця мертвa, бездушна маса, мною — господарем, душою дому.

Так я думав.

Та одного разу я прокинувся вночі. Швидко калатало серце. Розплющеними очима вдивлявся я у темряву, прислухався до нічної тиші. І почув тихе гудіння лічильника. Електропровід, знемагаючи від струму, здавалося, чекав лише дотику до вимикача, щоб залити кімнату спілучним світлом. Сповнені водою водопровідні труби чекали відкриття крану,

щоб задзюрчати веселим струмочком. В кухні й ванній — газ мріяв спалахнути світлим полум'ям. Батареї з гарячою парою, як великі розжарені груби, випромінювали тепло для всього будинку. А радіоприймач переповнювали новини про все-все на світі. Телефон в темряві ночі міг в будь-яку мить покликати мене. Дверний дзвінок мовчав. Він причайвся в темному кутку і начебто спав. Але досить лише торкнутися його, і він сповістить про прихід моїх друзів. Старий стінний годинник і маленький ручний на нічному столику, додаючи секунду до секунди, розмірено і чітко відраховували час.

Тонкі, ніжні шибки — очі моєї кімнати. Вони такі тендітні, що один необережний дотик може зламати їх. А проте вони з незбагненою силою і впертістю стримують шалені пориви вітру і хуртовини, надійно охороняючи звичний порядок моого дому.

А ось в тихій пітьмі ночі, в глибокій задумі стоять на полицях великі томи книжок в твердих палітурках. Їх пам'ять ніколи не спить і завжди готова стати мені у пригоді. Якщо є бажання, можна зараз же розкрити книжку на потрібній сторінці і дізнатися про щось дуже цікаве...

І я зрозумів: дім мій і в нічній тиші сповнений життя, він має душу — свою душу, яка ніколи не спить.

Я засвічує світло і сідаю на своє звичне робоче місце. До мене підбігають кіт та собака, лащаються, наче питаютимуть: чого це я засвітив світло такої глухої години.

Всі, всі вони готові слугувати мені — труби, провід, тонка антена, вентилятор, що сковався в стіні, — всі вони стали мені більшими.

І прийшла думка: «Я — людина, господар цього дому, я прагнущу досягти мети свого життя, але що б я робив без моїх друзів — без цього будинку з усім, що його наповнює?»

Я вимикаю світло, вкриваюся ковдрою і шепочу: «Відпочивайте, мої любі, відпочивайте! Зараз темна ніч — відпочивайте, а під вашою охороною я теж спокійно засну».

1946 р.
Переклада з ідіш С.Іцкович

Марк Соколянский

Профессор Марк Георгиевич Соколянский — известный литературовед, специалист по русской и зарубежной литературе, курс которой он читал в Одесском университете.

В настоящее время живет в Германии, читает лекции в различных университетах США и Европы.

Круг его интересов весьма широк — от пушкиноведения до истории Одессы. И не случайно именно он создал и возглавил комиссию по изучению одесского периода жизни славного одессита Владимира (Зеева) Жаботинского.

ОСТАЛСЯ В ОДЕССЕ

*"Мы будем помнить и в летней стуже,
Что десяти небес нам стояла земля".
Осип Мандельштам*

«Я не помню, какие планы были у меня в конце 1903 года. Быть может, я мечтал, как это водится у молодежи, завоевать оба мира, на пороге которых я стоял: обрести лавровый венок «русского» писателя и фуражку рулевого сионистского корабля...» Так вспоминает важный, поворотный момент своей жизни Владимир (Зеев) Жаботинский в автобиографической «Повести моих дней». В свои двадцать три года находился он, что называется, на перепутье.

Только теперь, более полвека спустя, можно оценить колоссальный диапазон очерченной им дилеммы и достижения этой незаурядной личности на обоих путях. Нет, пожалуй, не стал он в полном смысле слова флагманом мирового сионизма, хотя был признанным вождем одного из течений в этом движении и едва ли не самой яркой личностью среди сионистских лидеров всех поколений. Что же касается «лавров» русского писателя, тут судить, пожалуй, еще труднее. Планка, поднятая многострадальной и мощной русской литературой XX века, расположилась так высоко, что претендовать на «лавры» смогли лишь немногие; да и большую часть творческой энергии, свои разнообразные таланты отдал В. Жаботинский в зрелые годы главным образом не литературе. И все же он был известным русским литератором, а в журналистике имел достаточно громкое имя. И уже тогда, в 1903 году. А становление литератора, становление его личности проходило в городе, где он родился, вырос и прожил значительную часть своей жизни. В Одессе.

Одесская глава жизни В. Жаботинского еще не написана. В существующей на Западе биографической литературе об одесском периоде говорится довольно скромно, как о чем-то хорошо известном и не столь

уж значительном. Родился в октябре 1880 г., учился там-то и там-то, рано начал сотрудничать в одесских газетах, в 1898–1902 гг. находился в качестве их корреспондента в Швейцарии и Италии, в 1901 г. вернулся в Одессу, где стал самым известным фельетонистом, с 1903 г. увлекся сионистскими идеями; переехав в Петербург, в Одессе все же бывал регулярно, в 1911–1912 гг. жил в родном городе, а в последний раз побывал в нем уже в годы Первой мировой войны. Вот так схематично выглядит эта глава в изложении биографов.

Между тем, как правило, в жизнеописаниях Жаботинского излагаются лишь факты, легко отыскиваемые в «Повести моих дней»; иногда из-за незнания авторами одесских реалий они подвергаются деформации и почти никогда не проходят серьезной источниковедческой проверки, да и увязываются между собой не часто.

Круг возможных источников сведений о раннем Жаботинском и его жизни в Одессе не так уж широк. Помимо собственных произведений, это письма и дневники его современников и знакомых, архивные материалы, периодика тех давних лет (прежде всего — одесская), наиболее основательные биографии и монографии о нем...

В.Жаботинский был уроженцем Одессы в первом поколении, как и многие из его сверстников-евреев. Мать родилась в Бердичеве, отец был «никопольским мещанином». В сохранившейся в Одесском архиве метрической книге городского раввината за 1880 г. есть очень лаконичная запись (под номером 1773) о том, что у Евгения и Эввы Жаботинских родился сын Владимир. И вся-то информация со слегка перепутанной датой, без каких-либо сведений о родителях, даже без их адреса. По мемуарно-литературным источникам знаем, что родился будущий литератор и политический деятель в доме Харлампа на Базарной улице, где снимали квартиру его родители. Когда Владимиру было восемь лет, семья, уже лишившаяся основного кормильца — отца, переехала в худшую, двухкомнатную квартиру на углу (котором из четырех?) Еврейской и Канатной улиц.

О семье Жаботинских знаем мы тоже не очень много. Мать — Эва (Хавва), дочь торговца Меира Зака; отец — Иона (Евгений) Жаботинский, уроженец приднепровского Никополя, работавший торговым агентом РОПИГа, знаменитого черноморского пароходства, и ушедший из жизни, когда сыну Владимиру было всего шесть лет. Владимир был младшим ребенком в семье: старший брат Митя (Мирон) умер в детстве, сестра Тамара (Тереза) с шестнадцати лет поддерживала всю семью, впоследствии была учительницей арифметики и начальницей частной женской гимназии на улице Кондратенко (старые одесситы называли ее всегда по-старому — Полицейской, а новые привыкли к переволовому названию — улица Розы Люксембург). В справочных книгах серии «Вся Одесса» за 1911–1912 гг. сестра писателя фигурирует как Тереза Евгеньевна Жаботинская — Копп; Копп — фамилия ее рано

умершего мужа, врача по профессии. Корней Чуковский в своей книге «Гимназия. Воспоминания детства», рассказывая о перенесенной им детской болезни, называет и это имя: «Доктор Копп приходил каждый день...» Должно быть, тот самый? Памяти мужа сестры посвятит В.Жаботинский издание своей первой пьесы. К точным сведениям о матери и сестре знаменитого человека можно добавить разве что их точный адрес, относящийся уже к началу XX века, — ул. Почтовая (впоследствии — Жуковского), 4 — и тот факт, что в 1920 г. они уехали в Палестину. Да, немного нам известно об этой семье. Пока немного.., ибо вполне возможно обнаружение новых документов, способных расширить наши познания.

К примеру, в автобиографии вспоминает В.Жаботинский своего дядю, младшего брата отца, «обаятельного прохвоста», «лжеца милостью божьей», которому отец однажды по неосмотрительности поручил важные дела в РОПИТе, в чем затем раскаивался. Стало быть, дядюшка жил в Одессе? В «Метрической книге о браке» Одесского городского раввината за 1881 год встречаем запись (№ 532) о бракосочетании «мещанина м. Никополя Марка Жаботинского с дочерью одесского мещанина Абрама Богатырева, девицей Марию». Ему — 29 лет, ей — 20, и больше никаких сведений. Не о том ли самом «обаятельном прохвосте» идет речь?

А вот еще одно предположение, родившееся в ходе архивного поиска. По материалам Одесского охранного отделения 1907–1908 гг. проходила «николаевская мещанка Фаня Жаботинская», член Российской социал-демократической партии, проживавшая на ул. Кондратенко, 3. Николаевская мещанка? А, может быть, никопольская, как все Жаботинские, и писарь просто ошибся? Вполне возможно, но пока не доказано. Кто же эта таинственная социал-демократка, не кузина ли человека, нас интересующего? Ведь фамилия, судя по справочникам, отнюдь не была тогда в Одессе распространенной. А то, что разные ветви одного рода подались в разные течения общественной борьбы — один в сионисты, другая — в эдеки — и типично для России начала века, и совсем не удивительно.

В Одессе жили и состоятельный родственники матери В.Жаботинского, люди, судя по «Повести моих дней», духовно далекие автору, и потому для нас не слишком интересные. Впрочем, не будем зарекаться, просто пока мы о них мало знаем. С Одессой связана судьба другого, куда более важного для нашего героя человека. В автобиографии вспоминает он, как, будучи пятнадцатилетним гимназистом, познакомился с десятилетней сестрой своего одноклассника, Аней Гальпериной, произведшей на него неизгладимое впечатление. Рассказ об этом событии занимает всего абзац и не по стилю, но по сюжету напоминает биографии великих итальянских поэтов Проторенессанса и Треченто. Спустя двенадцать лет подросшая Аня — Анна Марковна Гальперина — стала женой и верным другом Жаботинского.

В Одессе, главным образом, протекали и «годы ученья» этого необычного человека. Семи лет он был отдан в «частную школу для детей обоего пола» госпожи Лев и госпожи Зусман, находившуюся неподалеку от дома, где жили тогда Жаботинские, на Троицкой улице. Следующий этап — учеба во Второй Одесской мужской прогимназии (угол Пушкинской и Греческой улиц). Этот красивый дом известен одесситам многих поколений: там уже давно размещается прекрасный музей западного и восточного искусства, один из центров художественной жизни города.

Закончив прогимназию, юный Жаботинский продолжил свое обучение в знаменитой Первой, Ришельевской гимназии. С легкой руки Юрия Олеши, многие повторяли забавный афоризм: «Человечество делится на две части: тех, кто учился в Ришельевской гимназии, и тех, кто там не учился». По этой классификации В.Жаботинский явно принадлежит к первой половине человечества.

Как немного знаем мы и о гимназических годах Жаботинского! Из скучных источников, включая несколько абзацев автобиографии будущего писателя, известно то, что, будучи гимназистом, познакомился он со своей будущей женой, что дружил с однокашником Всеволодом Лебединцевым, впоследствии бонвиваном и членом партии эсеров, что сотрудничал в рукописном гимназическом журнале... Любопытно, но, пожалуй, не столь уж необычайно.

Индивидуальность гимназиста Жаботинского проявилась разве что в настойчивом тяготении к литературным занятиям. Сам он не без иронии вспоминал о том, как семнадцатилетним юношей увидел на страницах одной из одесских газет первую напечатанную свою статью с размышлениями на педагогические темы. Но и до этого «пустячка» и примерно в то же время из-под пера юноши выходили и стихи, и переводы, и прозаические произведения. Он даже роман написал и не постеснялся послать рукопись самому В.Г.Короленко, а «живой классик» ответил гимназисту, советуя «продолжать» писать. Судя по всему, мысль о «главрах» русского писателя зародилась в душе этого даровитого человека еще в юности. «Не сосчитать всех рукописей, что я посыпал редакторам и получал назад — или не получал — в возрасте между 13 и 16 годами», — вспоминал он позднее.

Среди рукописей было немало поэтических переводов, среди которых нужно выделить переводы Эдгара По (с английского) и Иегуды Лейба Гордона (с иврита). В работе над переводами обнаружились два несомненных дарования Жаботинского: замечательное чувство русского слова и хорошая версификационная техника, а также поразительная лингвистическая одаренность, о которой нельзя не сказать особо.

Принято считать, что великолепное владение родным языком, как правило, затрудняет для человека процесс овладения языками иностранными. Многие из нас на разных этапах жизни утешались этой мыслью, вспоминая великих мастеров слова, которым тяжело давалось чужое

слово. Случай Жаботинского опровергает это «правило». Его родным языком был русский: на этом языке говорили в семье, хотя, по воспоминаниям писателя, мама с некоторыми родственниками общалась на идиш, и дети с детства научились понимать этот язык. Нельзя сбрасывать со счетов и немецкоязычную ориентированность культурных еврейских семей в ту пору. Древнееврейскому он начал учиться еще в детстве, благодаря И. Равницкому — другу Х.-Н. Бялика и соредактору четырехтомного собрания еврейских легенд. Впоследствии иврит стал для него чуть ли не главным языком общения (в Палестине) и творчества. Английский и французский активно изучал еще в школьные годы, и, судя по переводам, преуспел поразительно. Украинским владел в совершенстве, польским — неплохо. В период своего первого пребывания за границей усовершенствовался в немецком и французском да к тому же изучил итальянский. И все это языки, в которых он не просто «ориентировался», а свободно говорил и писал. Уникальная одаренность!

Семнадцатилетним гимназистом перевел знаменитое стихотворение Эдгара Аллана По «Ворон». Сегодня мы располагаем целым рядом русских переводов этого произведения американского романика. Известны версии Д. Мережковского, К. Бальмонта, В. Брюсова, М. Зенкевича, В. Бетаки. Но труд Жаботинского остается среди лучших русских переводов «Ворона». Влюблленность способного юноши в поэзию Э. По и прекрасное чувство языка позволили ему воссоздать не только семантику, но и поэтический строй философичного стихотворения с его образностью, ритмикой, аллитерациями.

Как-то в полночь утомленный, я забылся полусонный,
Над таинственным значеньем фолианта одного;
Я дремал и все молчало... Что-то мягко прозвучало —
Что-то тихо застучало у порога моего.
Я подумал: «То стучится гость у дома моего —
Гость и больше ничего.

.....

Шелест шелка, шум и шорох в мягких пурпуровых шторах —
Чуткой, жуткой, странной дрожью пронизал меня всего;
И смиряя страх минутный, я шепнул в тревоге смутной:
«То стучится бесприютный гость у входа моего —
Поздний путник там стучится у порога моего —
Гость и больше ничего.

Можно продолжать цитирование этой прекрасной работы, не уставая поражаться тому, что переводчику было всего семнадцать лет. Есть и еще один повод для удивления. Молодой одессит послал этот перевод в петербургский журнал «Северный вестник», но там не смогли оценить его и не напечатали. Первым оценил достоинства этой работы живший в ту пору в Одессе поэт и переводчик Александр Митрофанович Федоров; это с его «подачи» «Ворон» в переводе Жаботинского увидел свет в

литературно-художественном сборнике «Наши вечера», выпущенном одесским Литературно-артистическим обществом в 1903 г. В сборнике участвовали И.А.Бунин, А.М.Федоров и другие — как видные, так и менее известные авторы.

Но ко времени выхода «Наших вечеров» одесским любителям поэзии уже были знакомы и другие переводы В.Жаботинского из Эдгара По. На рубеже 1901–1902 гг. «Одесские новости» опубликовали переводы нескольких стихотворений американского поэта, выполненных своим «штатным фельетонистом». Эти переводы были замечены не только одесскими читателями. Какими-то судьбами попали они на глаза В.Я.Брюсову, который сразу же обратил внимание на подборку переводов. О своем впечатлении он сообщил в письме К.Д.Бальмонту, не побоявшись уколоть самолюбие одного из маститых собратьев по цеху: «В „Одесских новостях“ я нашел удивительные переводы стихов По — много лучше Ваших...»

Появление этих переводов в «Одесских новостях» никак не случайно: они принадлежали постоянному автору и сотруднику редакции. Как и когда прошло становление Жаботинского-журналиста? Задумываясь над этим вопросом, вспоминаю известные слова «Геродота Новороссии» Аполлона Скальковского об Одессе: «Одесса не знала младенчества». Вот и Жаботинский-журналист будто и не знал «годов ученья». Как-то внезапно, в один момент вошел он в жизнь одесской прессы, а дальше... дальше начались «годы странствий».

Автор «Повести моих дней» вспоминает, как А.М.Федоров, одобрав перевод «Ворона», представил совсем молодого человека редактору газеты «Одесский листок». Из всех журналистских амплуа семнадцатилетний юноша избрал для себя не более и не менее как положение зарубежного корреспондента и напрямую спросил редактора, будет ли «Одесский листок» печатать его, Жаботинского, корреспонденции из-за границы. Редактор, по свидетельству самого вопрошившего, ответил весьма остроумно: «Возможно. При двух условиях: если вы будете писать из столицы, в которой у нас нет другого корреспондента, и если не будете писать глупостей». Дебютант принял всерьез оба условия, и поскольку у газеты не было своих корреспондентов в Берне и Риме, провел последующие три года, главным образом, в Швейцарии и Италии.

Весной 1898 года молодой одессит, подхлестываемый жаждой новых впечатлений и уверенностью в своих силах, оставил учебу в гимназии и отправился в Берн. Позднее перебрался он в Италию, к которой привязался всей душой; там он нашел для себя и литературный псевдоним на долгие годы — *Altalena* (по-итальянски — качели). Через несколько месяцев после отъезда из Одессы в «Одесском листке» стали довольно регулярно появляться его публикации. С осени 1898 до весны 1900 гг. напечатано порядка сорока материалов молодого «недоучки». Правда, юный одессит посещал некоторое время лекции по правоведению в

Бернском университете, а позднее в Италии получил основательную эстетическую подготовку. Это не говоря уже о самообразовании и политических дискуссиях в кругу своих новых знакомых и друзей. Весной 1899 г. он вернулся в Одессу, держал экзамен на аттестат зрелости и провалился по древнегреческому языку; аттестат зрелости пришлось ему получать спустя восемь лет уже вполне зрелым человеком и литератором.

К этому времени относится и сближение с газетой «Одесские новости» — самой популярной тогда газетой Новороссии. Весной 1900 года Жаботинский переходит в нее и начинает регулярно посыпать свои корреспонденции. Первый опубликованный в этой газете материал относится к 22 марта. С периодичностью куда более частой, чем в «Листке» — буквально раз в несколько дней — газета «Одесские новости» и вечернее приложение к ней печатали своего нового итальянского корреспондента. Ко времени возвращения Жаботинского из Италии в родной город — а произошло это летом 1901 г. — он не без удивления убедился, что в журналистских и читательских кругах Одессы у него уже было имя. Тогда же редактор «Одесских новостей» небезызвестный (благодаря мемуаристам) Хейфец предложил молодому журналисту остаться в Одессе и писать ежедневный фельетон для газеты на условиях постоянного, вполне приличного оклада. Предложение было принято.

1901–1903 годы — самый продуктивный период творчества Жаботинского-публициста. За это время в «Одесских новостях» появилось более 400 его статей по разным вопросам. Оставаясь «штатным фельетонистом», он становится и членом редакции газеты. Жизнь в родном городе, разумеется, не исчерпывалась работой. Были и друзья, было и «Литературно-артистическое общество», куда он ходил с интересом и удовольствием. Да и в самой редакции «Новостей» встречались небезинтересные люди, привлеченные все тем же Хейфецом. Среди них Лазарь Кармен, уже известный тогда рассказами о бояках из Одесского порта, позднее полуза забытый, похороненный на втором еврейском кладбище, которое четверть века назад одесские власти перепахали, несмотря на все протесты общественности; и совсем юный Корней Чуковский, приобщенный к занятиям журналистикой своим старшим (на целых два года) гимназическим другом Альталеной. Один из мемуаристов В. Швейцер вспоминает, что в начале века «Одесские новости» держались «на трех китах»: «корреспондент из Рима, писавший под псевдонимом «Altalena», бытописатель одесского «дна» Л. Кармен, отец известного кинорежиссера Романа Кармена, и молодой литературный критик Корней Чуковский...»

Спустя шесть с лишним десятилетий, будучи метром русской детской литературы и автором ряда ярких литературно-критических книг, увенчанный лаврами, Корней Иванович Чуковский напишет своей израильской корреспондентке Рахили Марголиной о Жаботинском: «...Он ввел меня в литературу... От всей личности Владимира Евгеньевича шла какая-то духовная радиация. В нем было что-то от пушкинского Моцарта

да, пожалуй, и от самого Пушкина... Меня восхищало в нем все: и его голос, и его смех, и его густые черные волосы, свисавшие чубом над высоким лбом, и его широкие пушистые брови, и африканские губы, и подбородок, выдающийся вперед... Теперь это покажется странным, но главные наши разговоры тогда были об эстетике. В.Е. писал тогда много стихов — и я, живший в неинтеллигентной среде, впервые увидел, что люди могут взволнованно говорить о ритмике, об ассонансах, о рифмодах... Он казался мне лучезарным, жизнерадостным, я гордился его дружбой... Он был самый образованный, самый талантливый из моих знакомых...

Литературное творчество Жаботинского в те годы не сводилось только к публицистике. О переводах уже заходила речь, хотя и до сих пор достижения Жаботинского-переводчика не оценены по достоинству. Его собственные стихи, пожалуй, менее интересны, хотя изданная в Петербурге поэма «Бедная Шарлотта» (об убийце Марата Шарлотте Корде) не прошла тогда незамеченной. Пробовал известный журналист свои силы и в драматургии. По возвращении из Италии в 1901–1902 годах написал драмы «Министр Гамм» («Кровь») и «Ладно», которые ставились Одесским городским театром, а позже, в 1911 г. написал еще одну пьесу — «Чужбина».

В 1903 г. в Одессе вышел сборник его новелл «В студенческой богеме». Да и спектр его публицистических выступлений был чрезвычайно широк. Хоть числился он фельетонистом (кстати, изданная позднее в России книга его избранной публицистики называлась «Фельетоны»), но писал также и очерки, и эссе, и обзоры... По заслугам считался самым популярным журналистом на Юге России, был замечен и редакторами стольческих изданий. Словом, перед молодым, жизнелюбивым и талантливым одесским открывалась широкая литературная дорога.

Однако вернемся к словам самого Жаботинского, с которых начался этот очерк. В конце 1903 года помышлял наш герой не только о «лаврах русского писателя», но еще и о «фуражке рулевого сионистского корабля». Странное, на первый взгляд, гротескное сочетание. Что же произошло с автором такого признания в 1903 году?

Бытует расхожее мнение, что интерес к сионизму молодой Жаботинский привез из-за границы. В самом деле, он услышал впервые об этом движении в период пребывания в Западной Европе, но тогда еще не заинтересовался им всерьез. Потряс процветающего литератора Кишиневский погром 1903 г., явившийся первым звеном в цепи ряда локальных трагедий (погромы в Дубоссарах, в родной Одессе и т.д.), обнаруживших кульминацию общегосударственной и общенациональной проблемы.

Жаботинский бросился в Кишинев, расспрашивал очевидцев, стремился понять размеры и суть происшедшего события. Эти погромы сблизили его с южнорусскими сионистами, а сами события заставили впервые задуматься о необходимости еврейской самообороны. Потрясен-

ный проишедшим, он живейшим образом воспринял появление «Сказания о погроме» Хайма-Нахмана Бялика, стал переводить стихи этого замечательного поэта. В 1914 г. стихи Бялика в русских переводах В.Жаботинского были изданы в Санкт-Петербурге отдельной книгой, и в течение последующих восьми лет сборник этот выдержал шесть изданий. Благодаря Жаботинскому-переводчику, со стихами Бялика смогла познакомиться российская интеллигентная публика. Так, в переводах Жаботинского прочел стихи Бялика и восхитился этим, по его словам, «великим поэтом» самый популярный русский писатель тех лет Максим Горький.

На Базельский сионистский конгресс В.Жаботинский был делегирован уже после Кишиневского погрома. Он еще ничего толком не знал о движении, но уже заболел проблемами своего народа. Это был его первый конгресс, и молодого неофита сразу же захватил незнакомый дотоле вихрь страстей и борений. Не богатая эпическая история предков, не национальный колорит современников, но, в первую очередь, страдания народа призвали разносторонне одаренного одессита на столь нелегкий и непростой для освоения путь.

К тому же времени относится и прощание с Одессой как постоянным местом проживания. Не суждено, правда, было Жаботинскому на манер многих одесских (по рождению и формированию) журналистов обосноваться в Петербурге, хоть и жил он в столице и сотрудничал активно в петербургской периодике. «Вел я кочевую жизнь», — вспомнит об этом времени автор «Повести моих дней». Петербург, Вильно, Киев, Гродно, Нижний Новгород, Вена, Стамбул — не перечислить всех городов, где довелось ему побывать в те неспокойные годы. Литературных занятий он не оставлял (то была его профессия, дававшая, кстати, средства к существованию), но все большее место в его жизни занимало сионистское движение.

Не прерывались связи Жаботинского с Одессой. Здесь жили самые близкие люди — мать и сестра, здесь была его «корневая система». Он приезжал в Одессу на разные сроки, иногда — на несколько месяцев. В квартире матери на Почтовой улице ждала его постоянная комната, в ней он провел 1911–1912 годы. Было похоже, что коренной одессит возвратился в родную гавань. В справочнике «Вся Одесса» за 1911 и 1912 гг. он фигурирует как журналист «Одесских новостей» и член «кассы взаимопомощи литераторов и ученых». Снова регулярно печатается в родной газете, с которой и прежде связи не терял. В 1911 г. основал в Одессе издательство «Гургеман» (переводчик); переводил для него с итальянского на иврит роман Джованьоли «Спартак». В 1912 г. переехал от матери с сестрой на другую квартиру (Новосельская ул., дом 91), где прожил несколько месяцев. А уж если вспомнили мы 1912 год, то как не сказать о выборах в Государственную Думу, коснувшихся и В.Е.Жаботинского.

Собственно, это была его третья попытка. Впервые он был выдвинут кандидатом в депутаты Второй Государственной Думы от Волыни, но... Выборы были двуступенчатыми, и на первом этапе еврейские избиратели забаллотировали известного публициста, а волынские мужички в свою очередь забаллотировали тех, кого поддержали еврейские избиратели, предпочтя им откровенных черносотенцев. Как известно, Вторая Дума просуществовала недолго, была распущена, и в 1907 г. во время избирательной кампании Жаботинский был выдвинут в Третью Думу, на этот раз в своей родной Одессе.

Не так просто восстановить все подробности тех выборов, но скажем хоть кое-что о предвыборной атмосфере. Начнем с ограничений. Кто не имел права голосовать? Лица женского пола, лица моложе 25 лет, учащиеся учебных заведений, воинские чины армии и флота, состоящие на действительной службе, бродячие инородцы, иностранные подданные. Интересно, к какой из этих категорий был отнесен сам Жаботинский (уж не бродячий ли инородец?), но в списках лиц, имевших право участвовать в выборах в Государственную Думу, сохранившихся в Одесском архиве, имени Жаботинского нет. Не было его и в списках избранных депутатов.

Первое неизбрание Жаботинского в родном городе не так уж и удивительно, если учесть, что городские власти, как принято теперь говорить, «держали ситуацию под контролем». А что собой представляли городские власти, даже выборные? В Архиве Одесской области сохранился любопытный документ — Постановление Одесской городской Думы от 4 июня 1907 г. (в связи с роспуском Второй Государственной Думы). Позволю себе процитировать его:

«Одесская Городская Дума, выслушав предложение 19-ти гласных по поводу состоявшегося Высочайшего повеления о роспуске Государственной Думы, единогласно постановила: повергнуть к стопам ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА верноподданические чувства в следующей телеграмме: «ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ! Одесская Городская Дума с болью в сердце созерцала бесплодную работу Государственной Думы и прониклась глубоким убеждением, что лишь изменение избирательного закона может дать спокойствие и благородство дорогой родине. В трудную историческую минуту Одесская Городская Дума спешит повергнуть к стопам ОБОЖАЕМОГО САМОДЕРЖАВНОГО, НЕОГРАНИЧЕННОГО МОНАРХА выражения верноподданических чувств».

Что ж, несмотря на известное вольномыслие Одессы, заметно отличавшейся в этом отношении от своих северных и восточных соседей, управляли ею такие же государственные мужи, как и повсюду в стране. Холуйский дух и холуйский этикет процветали под сенью мудрости «обожаемого монарха», доведшего страну до катастрофы, и благополучно перекочевали из «России, которую мы потеряли», в новую, так

называемую социалистическую действительность. Впрочем, это произошло позднее, уже в нашем присутствии.

Провал на выборах в Третью Думу оказался для Жаботинского не последним. В 1912 г., когда империя готовилась избирать очередную, Четвертую Государственную Думу, группа еврейских общественных деятелей в Одессе снова остановилась на кандидатуре Жаботинского, и Владимир Евгеньевич, живший и работавший в ту пору в родном городе, дал согласие баллотироваться. Было ли серьезным и обдуманным это его решение? Надо полагать, вполне. Помимо деклараций, обратим внимание на один, снова архивный, и, казалось бы, далекий от политической жизни документ.

Сохранилось Дело Одесского нотариального Архива «о продаже мещанином Шлмой Татуром мещанину Владимиру Жаботинскому имения в г. Одессе за 450 руб.» Далее узнаем, что одесский мещанин Шлма Лейбов Татур продал никопольскому мещанину Владимиру Евнову (Евгениеву) Жаботинскому «собственное свое недвижимое имущество, состоящее в г. Одессе, Дальницкого полицейского участка, на Большом Фонтане..., заключающееся в участке пустопорожней земли, показанном на плане» и т.п.¹ Зачем это понадобился Жаботинскому в 1911 г. «участок пустопорожней земли» на Большом Фонтане? Попробуем мыслить с помощью аналогий. Пятью годами раньше, накануне выборов во Вторую Думу он, по собственным воспоминаниям, «в Волыни, в заброшенном городе около Ровно... купил одноэтажный домик о трех окошках и тем самым приобрел право избирать и быть избранным» (подч. мной — М.С.). Надо полагать, что и собственность в Одессе понадобилась кандидату в Думу с той же целью.

Среди одесских газет с особой тщательностью следил за избирательной кампанией Жаботинского «Одесский курьер». Вот, в номере 488 (1912 г.) помещена статья редактора газеты Ш.Бурштейна с говорящим названием: «Наконец-то». В статье приветствуется решение группы еврейских общественных деятелей проводить в депутаты Государственной Думы от города Одессы во второй курии еврея и остановиться на кандидатуре В.Е.Жаботинского. «Не может быть сомнения и в том, что наиболее прогрессивные христиане, жаждущие услышать в Думе яркое вдохновенное слово протеста против всякого беззакония, с удовольствием отдадут свои голоса В.Е.Жаботинскому, прогрессивность и искренность убеждений которого не подлежат ни малейшему сомнению», — пишет далее Ш.Бурштейн, пребывая в полной уверенности, что Жаботинский получит большинство голосов. В № 494 той же газеты помещена любопытная статья Ф.Ш.Колосовера «Жаботинский как еврей». Кратко описав эволюцию взглядов поддерживаемого кандидата, называя его «нашей драгоценностью» и сравнивая с Гамбеттой, автор призывает читателей отдать свои голоса такому человеку. В следующем номере «Одесского курьера» снова редактор обращается к евреям, разобщенным по разным

группам и партиям, со статьей «Поймите же наконец!», доказывая необходимость голосовать за Жаботинского. Были подобные материалы и в других газетах, и тем не менее...

Преодолеть разобщенность не удалось. С одной стороны кадеты (среди видных одесских кадетов евреи составляли внушительную часть), с другой — социалисты из «Бунда» вели яростную пропаганду против видного публициста, и в конце концов незадолго до выборов Жаботинский снял свою кандидатуру. (Потому, возможно, и разладилась его сделка со Шлемой Татуrom: на процитированном выше Деле нотариального Архива написано — «Начато 15 июня 1911 г.», а против слова «Кончено» — ничего не прописано; да и среди одесских землевладельцев за 1912 г. Владимир Евгеньевич не значится.) В 499 номере «Одесского курьера» все тот же Бурштейн писал в статье «Пиррова победа»: «Кадеты торжествуют. Самый опасный претендент на депутатский мандат от второй курии снял свою кандидатуру». А в юбилейном, 500-м номере Ф. Колосовер горевал: «...Снятие кандидатуры Жаботинского омрачает наш скромный праздник...»

Можно только предполагать, как бы действовал Жаботинский в случае избрания в Думу. Наверняка отстаивал бы интересы российского еврейства (тут не может быть сомнений), а, может быть, и права других национальных меньшинств; вероятно, не забывал бы о заботах Одессы и шире — Новороссии. Наверное, выступал бы с привычной страстью и искренностью. Но при этом пришлось бы, очевидно, отойти от задач сионистского движения: как бы совмешались требования равноправия евреев в России и призывы вернуться на историческую родину для создания своего государства? «Впрочем, что ж болтанье! Спиритизма вроде...»: история не знает сослагательного наклонения, и случилось лишь то, что случилось.

Отрицательные эмоции, связанные с избирательной кампанией, определили окончательный выбор Жаботинского. Он покидает родной город, а вскоре и Россию. В последний раз он посетил Одессу ненадолго в 1915 г. Кроме Одессы, побывал тогда в Петербурге, Москве и Киеве; это был его последний приезд в Россию. А через пять лет переедут в Палестину его мать, сестра и племянник, и порвется последняя ниточка, связывавшая уже известного политического деятеля с городом и страной, где он родился, вырос и прожил большую часть жизни.

То были связи личные и семейные. А что же связи духовные, эмоциональные, ведь были, наверное, и такие? Вопрос не из легких. Начнем с того, что в памяти Жаботинского в 20–30-е гг. Россия возникала как оплот реакции вообще и антисемитизма в частности. «Если у меня есть духовное отечество, — писал он, — то это Италия, а не Россия». Правда, осекался всякий раз, когда заговаривал об отношении русского народа к инородцам: «...я вообще сам еще не настолько освободился от пережитков дедовской ксенофобии, чтобы иметь право выслеживать зерна

того же недуга...» Такую широту взгляда впитал он в родном, многонациональном городе. Недаром же, при самом критическом отношении к России Жаботинский всегда делал безоговорочное исключение для своей «малой родины».

«Одним из трех факторов, которые наложили печать свободы на мое детство, была Одесса. Я не видел города с такой легкой атмосферой, и говорю об этом не как старик, думающий, что на небосклоне потухло солнце, потому что оно не греет ему, как прежде. Лучшие годы юности я провел в Риме, жил в молодые лета и в Вене и мог мерять духовный «климат» одинаковым масштабом: нет другой Одессы — разумеется, Одессы того времени — по мягкой веселости и легкому плутовству, витающим в воздухе, без всякого намека на душевное смятение, без тени нравственной трагедии. Я не скажу, Боже упаси, что обнаружил в этой атмосфере избыток глубины и благородства, но ведь ее ласкающая легкость именно и состояла в отсутствии какой бы то ни было традиции. Из ничего, из нуля возник этот город за сто лет до моего рождения, на десяти языках болтали его жители, и ни одним из них не владели в совершенстве... Город эфемерный, как клещевина пророка Ионы, и все, что произрастает в нем, — материальное, нравственное, общественное — тоже Ионова клещевина, переходящий случай, острота, авантюра...»

В других контекстах автор этого панегирика столь же страстно, хоть и более лаконично вспоминал незабываемый родной город. Это была прочная любовь, лишенная притом налета идеализации и экзальтации. В творчестве эта любовь вылилась в роман «Пяттеро», написанный по-русски и вышедший в 1936 г. В этом, частично автобиографическом произведении, в центре которого трагическая судьба интеллигентного еврейского семейства, образно воссоздана атмосфера жизни в Одессе начала XX века. Здесь, как удачно заметила американская исследовательница Алиса Нахимовски, «Одесский городской пейзаж создает стойкий колорит книги, и чувствуешь, что улицы и порт изображены не только для точного указания на место действия, но это еще и волшебное действие памяти, поэтический способ преодоления изгнания и времени с помощью слова...»

Говоря о «духовном отечестве» Жаботинского, было бы неверно замкнуться в рамках его родного города. Для человека столь широких интеллектуальных интересов и столь больших творческих возможностей плацдармом духовного становления и развития была разноплеменная культура, но раньше всех — русская культура. Полнотью осознав, что этот тезис небесспорен, что авторов, желающих его оспорить, было и есть немало. Конечно же, И.Равницкий и другие наставники пробудили у молодого Володи (Зеева) сильный интерес к культуре своего народа. Конечно же, интернациональная Одесса стимулировала внимание молодого публициста к судьбам других народов империи, долгие годы лишенных права на свободное развитие своей культуры; так, в ряде выступлений

Жаботинского в печати отчетливо проявились его неподдельный интерес и глубокое понимание судеб украинской культуры². И все же родным, «материнским» языком, первым языком обучения и языком творчества был для него русский.

Некоторые израильские и американские биографы Жаботинского слишком уж, на мой взгляд, однозначно восприняли отдельные декларации лидера ревизионистского крыла в сионизме. К примеру, в содержательном предисловии профессора Иосефа Недавы к автобиографической прозе Жаботинского встречаем такое утверждение: «...Он не любил русской литературы с душевной путаницей ее творцов, их самобичеванием и копанием в себе...» Такого рода обобщения нескольких вырванных из контекста признаний самого Владимира Евгеньевича легко приводят на путь упрощений.

Да, автор «Повести моих дней» признавался, что «не склонен углубляться в бездны души», что предпочтение, отдаваемое им западным авантурным и историческим романам перед русской прозой, спасло его от чрезмерной рефлексии («гамлетизма», как выразились бы иные русские критики конца XIX века) и преждевременного старения. Но как не заметить, что перед этим Жаботинский пишет о своих любимых Пушкине и Лермонтове, которыми, как и Шекспиром, зачитывался с детства и которых знал чуть ли не наизусть. Свой «критический вердикт» выносит он «остальной русской литературе», делая при этом немаловажные исключения для русской поэзии (!) и романа Гончарова «Обрыв». Совсем молодым еще человеком написал он в итальянскую газету «Аванти» статью о «литературе настроения» в России, где речь шла о Чехове и молодом Горьком. О газете «Русские ведомости» вспоминал в зрелые годы не без нежности: «старая честная газета, гордость русской печати»; трудно не расслышать в этой фразе и более широкое, уважительное отношение к передовой русской прессе. По воспоминаниям одного из друзей, до конца жизни любил играть, загадывая две строчки из русских стихов, чтобы его собеседники продолжали.

Да, «отлучить» Жаботинского — литератора и любителя литературы — от российской словесности трудновато. Да и вообще приговоры, вроде упомянутого, не всегда стоит воспринимать буквально, тем более если исходят они от творческой личности. Вспомним, как ниспровергал Шекспира — в угоду собственной концепции творчества — поздний Лев Толстой, в глубине души великолепно осознавший масштаб гения английского драматурга. На уроженца Бердичева, польского шляхтича Теодора Юзефа Конрада Коженевского, более известного нам как английский прозаик Джозеф Конрад, имя Достоевского действовало, как красная тряпка на быка; но сегодня признано и является неоспоримым глубокое влияние творчества Достоевского на автора «Лорда Джима» и «Тайного агента». Свое впечатление от прямых деклараций писателя всегда стоит проверить, внимательнее вчитавшись в его книги.

Даже в статье Жаботинского «Русская ласка», содержащей не всегда безуказненно точные рассуждения об «антисемитских мотивах в русской классической литературе», есть пассаж, дающий вполне чекое представление о главных критериях, которыми он руководствовался в оценке литературы: «...Между прочим, русскую литературу я очень ценю, включая и этого самого Гоголя, потому что литература должна быть прежде всего талантлива, и русская литература — далеко не в пример иным прочим отраслям русской национальной жизнедеятельности — этому условию удовлетворяет...» Стало быть, эстетический критерий доминирует над идеологическим, и этот приоритет нельзя игнорировать при анализе эстетических пристрастий автора процитированных строк.

К примеру, признается Жаботинский: «Итальянский по сей день для меня мой язык, возможно, даже в большей степени, чем русский, хоть я теперь и запинаюсь и подыскиваю забытые слова в разговоре». Любопытное признание, прочитав которое, сразу же думаешь о том, что по-русски Владимир Евгеньевич и, покинув Россию, никогда не запинался, и слов ему не нужно было «подыскивать». Наоборот, у других людей подмечал неточности в русской речи; даже о матери своей писал, что «она производила разрушительные действия в русской грамматике». О своем друге и героическом соратнике И. Трумпельдоре писал, что тот «по-русски говорил хорошо, хотя в Палестине научился немного «петь»». Сам Жаботинский ценил хорошую русскую речь. Кстати, называет он в своих сочинениях Трумпельдора в русской патронимической манере — «Исаиаф Владимирович» — и восхищается тем, что Трумпельдор был хорошо начитан в русской литературе, «читал даже вещи, которых никто не читал, Потебню и т.п. — и помнил каждую строчку...»

Интересно, что, желая сказать: «от начала до конца», — Жаботинский употребляет такой фразеологический оборот — «от аза до ижицы» (а не, к примеру, «от альфы до омеги»); нередки в его русских сочинениях даже поздних лет российские поговорки, пословицы, даже коллоквиальные словечки.

В вышедшем в 1928 г. его книге об истории еврейского легиона в Палестине есть всего одна стихотворная цитата, которую позволю себе воспроизвести:

От Рущука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
С кликай псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи.

Четверостишие это взято из стихотворения (скажем, не самого хрестоматийного) Пушкина «Стамбул гяуры нынче славят». Надо полагать, приводя пушкинские строки, Жаботинский не заглядывал в томик стихов любимейшего из русских поэтов.

Да и вся-то книга о еврейском легионе написана, в отличие от «Повести моих дней», по-русски, и название ее — «Слово о полку» —

сразу же вызывает у просвещенного читателя ассоциацию с самым значительным памятником древнерусского средневекового эпоса. Наконец, два самых значительных из крупных прозаических произведений Жаботинского — его романы «Самсон Назорей» и «Пятеро» — были написаны хоть и вдалеке от России, но на русском языке. Быть может, в 20–30-е гг. задача завоевания «лавров русского писателя» для политического деятеля отошла на второй план, утратив ту остроту, которая ощущалась Альталеной в 1903 г., но чувство сопричастности русской словесности вряд ли совсем покинуло его. Чувство, возникшее еще у одесского гимназиста.

И снова приходится сокрушаться по поводу того, как еще мало мы знаем о гимназических годах Жаботинского. Не так давно, в 1990-е гг., появился в печати (через двадцать с лишним лет после смерти его автора) бесценный источник — дневники Корнея Чуковского. Но увы, гимназический период в них практически отсутствует. Может быть, не вел он в гимназические годы записей, а, может, дело в том, что еще в 1940 г. выпустил он книгу «Гимназия. Воспоминания детства»; но та беллетристическая книга, несомненно, прошла сильную автоцензуру: в какие годы она издавалась!

Правда, есть в дневниках Чуковского одна запись, которая представляет особый интерес в плане нашего разговора. Датирована она 11 июня 1965 года: «...Получил из Иерусалима письмо, полное ненависти к десpotизму раввината. Автор письма Рахиль Павловна Марголина прислала мне портрет пожилого Жаботинского, в котором уже нет ни одной черты того Альталены, которого я любил. Тот был легкомысленный, жизне-любивый, веселый: черный чуб, смеющийся рот. А у этого на лице одно упрямство и тупость фанатика. Но, конечно, в историю вошел только этот Жаботинский...»

Дневниковая запись, судя по дате, сделана примерно тогда же, когда было написано и то письмо Чуковского Марголиной, которое цитировалось несколькими страницами выше. Какая же разительная перемена тона! Там — «восхищало в нем все», «главные разговоры об эстетике», здесь — «легкомысленный»; там — «пушкинско-моцартовское начало», здесь — «одно упрямство и тупость фанатика». А ведь по воспоминаниям ряда современников (еще не опубликованным), К.И.Чуковский не менял с годами восторженного отношения к Жаботинскому. Так, автор известной трилогии «Путь слова», писатель и переводчик Лев Боровой рассказывал автору этих строк о том неподдельном письтете, который питал Корней Иванович к другу юности, хотя был весьма строг к большинству своих собратьев по цеху. О благоговейном отношении Чуковского — уже в 1960-е гг. — к памяти Жаботинского поведал мне и видный знаток творчества К.И.Чуковского литературовед Мирон Петровский.

Неужели так сильно поразил корифей детской литературы полученный от Марголиной портрет? Неужто в послесталинские годы не попадали в его руки книги западных авторов о Жаботинском, содержавшие нема-

лый иконографический материал? Нет, как-то не хочется придавать слишком большое значение физиognомическому диагнозу Корнея Ивановича. Лишь гипотетически можно утверждать, что отношение его к другу юности оставалось неизменным, а слова, вроде «упрямства» и «тупого фанатизма», появились в дневниках не без влияния автоцензуры: а вдруг дневниковые записи попали бы на глаза «компетентным людям», для которых само имя Жаботинского было тогда из разряда недозволенных. Мудрый Корней Иванович знал, где он живет, и многолетним опытом был приучен к осторожности; от назойливости «кураторов» с Лубянки не спасли бы ни оксфордская мантисия, ни Ленинская премия. Впрочем, повторяю, это не более, чем гипотеза, а тема «Чуковский и Жаботинский» еще ждет специального изучения.

Но если отвлечься от непонятной резкости выражений, то нельзя не признать и некоторой правоты К.Чуковского, подметившего разницу между «двумя Жаботинскими»: ранним и поздним. Несомненно, «моцартианское» начало, которое проглядывало в раннем Жаботинском, плохо сопрягалось с теми политическими целями, которые он ставил перед собой в более поздние годы жизни. И, разумеется, невозможно уяснить происшедшую с выдающимся человеком эволюцию, мысля категориями привычной дихотомии: черное/белое. Разве можно однозначно судить, какой этап жизнедеятельности Жаботинского важен, а какой — нет? Просто речь идет о разных жизненных устремлениях, которые востребовали по преимуществу разные стороны интеллекта и дарования.

Концепция «еврейского государства», прекрасно изложенная Жаботинским в одноименной брошюре, реальная политическая ситуация в Палестине определили довольно жесткую позицию, занятую сторонниками ревизионистского крыла в сионизме во главе с их лидером. На нескольких кризисных этапах истории государства Израиль проводимая последователями Жаботинского линия себя определенно оправдала, что, однако же, не означает, на взгляд вдумчивых политологов, что она единственно правомерна для всех времен и обстоятельств. Да и речь сейчас о другом: сплошь и рядом вынужденная политика «железной стены» не была самым подходящим поприщем для проявления «моцартианского» духа.

Но было бы неверно утверждать, что страстный патриот своего народа, так много сделавший для его утверждения на исторической родине и так энергично работавший для создания независимого еврейского государства, Жаботинский полностью подавил в себе творческую личность, «наступив на горло собственной песне». Вдохновенный Альталена и в двадцатые, и в тридцатые годы не раз давал о себе знать и в блестящей риторике политического деятеля, и в своей бескомпромиссной принципиальности, проявленной в политических и идеологических баталиях, в яркой публицистике и, наконец, в романах.

Невероятное в умозрительных построениях, но имевшее место в действительности конфликтное сочетание двух жизненных линий и устремлений своеобразно отразилось в характере главного героя романа «Самсон Назорей». На разных стадиях жизни сталкивается он с необходимостью укрощать темперамент и гордость перед лицом насущных чаяний своего народа. Индивидуализм этой яркой и сильной натуры то и дело вступает в противоречие с патриотизмом Самсона, выстраданным, сложным, но в то же время органичным. Скрытое тяготение к иной, менее замкнутой цивилизации подавляется зрелым Самсоном ради великой цели. Оппозиция «свое/чужое» не является для него такой уж простой и определенной. Самсон у Жаботинского — борец, но не только с иноплеменными врагами; не менее значительны, хоть и скромно описаны его «боренья с самим собой». Как тут не подметить скрытой автобиографичности повествования? Европеец по духу, автор романа, вопреки, быть может, своему бурному жизнелюбию и ренессансно многосторонней одаренности, сосредоточился на проблемах и бедах родного народа, положив на этот алтарь все свои силы и самое жизнь. И, видно, небезосновательно заметил К. Чуковский, что именно этот, второй Жаботинский и вошел в мировую историю.

Но нельзя забывать и хронологически первого Жаботинского, неординарная талантливость которого поражала и притягивала к нему многих современников. Нелегкое дело, которому служил он в зрелые годы, не нуждалось в полной мере во многих из его дарований. Заразительно жизнелюбивый и безмерно одаренный Альталена остался, главным образом, в своей быстро протекшей молодости.

Он остался в Одессе...



¹ Пользуясь случаем, выражая благодарность краеведу А.Ю.Розенбойму за указание на этот архивный документ.

² Доброго слова заслуживает в этой связи Республиканская ассоциация украиноведов, первой на территории бывшей империи предпринявшая издание книжки статей Жаботинского (Володимир Жаботинський. Вибрані статті з національного питання. — Київ, 1991).

Иона Грубер

Поэзия Ионы Грубера едва ли знакома современному читателю, хоть его имя в довоенные годы пользовалось известностью. Писал он на идиш и по-немецки, создав целый ряд тонких и своеобразных поэтических миниатюр. Приводим две из них в новых переводах Инны Крук.

СЛОВО

Мне нужно слово. Я старик.
Я в нем от смерти спрячусь.
Такое слово, чтобы вмиг
Слепого сделать зрячим.

Эй, отзовитесь кто-нибудь!
Где мне найти такого,
Кто мне укажет верный путь
К магическому слову?

Но если я ищу не зря,
То слово будет с нами.
И засияет, как заря,
Над нашими делами.

ИСПОВЕДЬ

Я каюсь. Любил я лишь радости и смех.
Я радость отыскивал в каждом событии,
О горе старался скорее забыть я.
А это, наверное, все-таки грех.

Я много смеялся — натура такая.
Пытался высмеивать низость и зло,
И мне удавалось не плакать — везло,
А если грешно это, значит, я каюсь.

Я смехом взрывал изнутри немоту,
В уродливом я находил красоту,
И людям кричал я: «Живите, смеясь,

Ведь, если мы в счастье немного поверим,
То нам не грозит обернуться тем зверем,
Который скрывается в каждом из нас».

Анатолий Нимченко

Внимательный читатель «Егупта» уже знаком с именем Анатолия Нимченко. На этот раз он выступает с рассказом, в котором редколлегию подкупила острые современность сюжета и деталей.

ВУС ЭРЦЕХ?

Все началось с абсолютной ерунды: собирая малину на собственной даче и бросая время от времени ягодки в рот, Владимир Александрович съел травяного клопа. Вернее — не съел, а просто раскусил, ощувтив какой-то вяжущий горько-затхлый вкус.

Многоократно сплюнув, а потом еще и прополоскав рот, он все еще никак не мог от него избавиться, и даже, когда закурил, ощущал некое послевкусие.

Тем не менее он нормально пообедал, подремал после трапезы в шезлонге и, казалось, забыл о злосчастном клопе. Под вечер, однако, появилась ноющая боль в животе, тошнота и даже рвота. Тут-то Владимир Александрович и вспомнил об утреннем происшествии, сделав вывод: насекомое было ядовитым, и он — отравлен. На доводы жены, что о ядовитости травяных клопов ничего не известно, пострадавший слабым голосом отвечал: «После Чернобыля все стало ядовитым».

Софья Романовна склонялась все же к другому объяснению отравления:

— Я давно хотела выбросить сало, но ты же прямо жить без него не можешь. Кто летом ест старое сало? Даже украинцы не стали бы есть такое. Ты же как на зло...

Владимир Александрович ничего не отвечал на эти справедливые упреки, ибо целиком сосредоточился на зарождающемся где-то в глубине желудка очередном спазме. Да и что он мог ответить? Он действительно любил сало, именно для него оно и покупалось, и, если жена не успевала выбросить остатки, он съедал и эти пожелтевшие обрезки, пахнувшие потертой пропотевшей кожей.

— Думаешь, наши предки были глупее нас? — спрашивала Софья Романовна, не одобрявшая этого пристрастия.

— Наверное, не глупее, но они жили в другое время, — тоже справедливо отвечал Владимир Александрович.

Но, как бы там ни обстояло дело с предками и с дурными пристрастиями, сегодня было не до споров: необходимость добираться до ближайшей больницы представлялась очевидной. Вот только как добираться? Идти на электричку? Но это шесть километров. Попытаться уехать на попутной? Но по их проселочной дороге в такое время и не ездит-то никто...

Оставался один вариант: просить соседа Алексея Степановича отвезти его в Киев. Не за спасибо, конечно, ибо предстояло ехать на ночь глядя пятьдесят километров, а потом еще и возвращаться в полной темноте. На такую услугу можно расчитывать со стороны хорошего родственника или очень хорошего друга, но никак не просто соседа, с которым, хоть и знакомы уже лет десять, но особой дружбы не водили.

Да и какая может быть дружба между владельцами трехэтажного «замка» и обладателями обыкновенной бытовки, приспособленной под дачный домик? Не только разные весовые категории, но и разный стиль жизни: фундаментальный, прочный и надежный с одной стороны и временный, абы-какой с другой. Не говоря уже об огородах, вообще не подлежавших сравнению.

Алексей Степанович Ковальчук никогда огород Моргенштернов и огородом-то не называл — только лужайкой или палисадником. Да и как его назовешь, если там кроме малинника, да и то густо заросшего будяками, почти ничего больше и нет — так цветочки-vasileчки да едва торчащие из высоченной травы низкорослые, совершенно выродившиеся яблоньки.

Конечно, у себя на участке хозяин — барин, но и о соседях можно бы подумать: ведь этот проклятый пырей, который Моргенштерны нежно называют «травкой», с их участка лезет на соседние, а там в поте лица его вынуждены истреблять, делая таким образом работу и за Моргенштернов.

Нет, Алексей Степанович и жена его Надежда Николаевна претензий соседям не предъявляли, но относились к ним слегка снисходительно: ну не любят люди лишней работы, что с них возьмешь? Вот и воду Владимир Александрович первым на всем массиве приспособился моторчиком качать, чтобы, значит, супруга рук себе не мучила. А вот Ковальчуками качают как верблюды да таскают ведрами как ишаки, вроде так и надо.

Когда их спрашивают о соседях, они, Боже упаси, ничего плохого не говорят: «Нормальные люди, хоть сами и евреи». И не следует думать, что они что-то имеют против евреев, просто это формула такая. Так бы, наверное, сказали они и о грузинах, и о литовцах. А вот о русских — нет. Так уж сложилось. А почему? Никогда не задумывались.

Когда Софья Романовна прибежала к Алексею Степановичу, его первым движением было — конечно же, помочь. Но она все никак не могла остановиться, рассказывая подробности, и когда с ее уст сорвалось: «кровота», Ковальчук внутренне отпрянул. Если бы касалось только его времени и сил, он бы не колебался, но тут речь шла о машине. «Обрыгает», — подумал он и понял, что допустить этого не может, ибо к своей машине — совсем еще как новенькой «Волге» — относился более бережно, чем к себе.

— Рад бы, но аккумулятор сел, — сказал он, понимая, что соседка не верит, ибо вчера видела, как машина стояла в гараж, и все отлично работало.

Алексей Степанович предложил проводить их на станцию или до села Крихалевки, где имелась участковая больница, если надо — даже нести Владимира Александровича, но Моргенштерны отказались.

Они отправились через лес часов в семь вечера и пришли на полустанок только к девяти: в пути приходилось делать довольно длительные остановки, и вообще — состояние Владимира Александровича отнюдь не улучшалось, что делало предстоящее часовое путешествие на электричке довольно сложным, а там еще по городу около часа...

— Может, лучше в Крихалевку? Тут же рядом, — предложила Софья Романовна. Владимир Александрович, соглашаясь, только кивнул.

До села действительно оставалось — рукой подать, но им понадобилось еще около часа, чтобы добраться до больнички — небольшого домика с верандой. В наступающих сумерках все выглядело очень мирно, а больные в полосатых пижамах, прогуливающиеся или играющие в домино, казались праздными обитателями какого-нибудь дома отдыха.

Моргенштернам очень повезло: врач (он же главврач) Василий Андреевич Копытко случайно оказался в больнице и, осмотрев Владимира Александровича, завел на него историю болезни, назначил лечение и промывание желудка, которое дежурная сестричка тут же и проделала.

Софье Романовне доктор сказал, что хорошо бы достать отсутствующий у них новый антибиотик, но, если нет, то обойдется и так, ибо температура не высокая и состояние не тяжелое. На напоминание Владимира Александровича о травяном клопе, он лишь рукой махнул: «Какой там клоп? От клопов токсицинфекции не бывает». Стало ясно, что, в диагнозе он не сомневается и в лечебном успехе тоже.

Вообще доктор Копытко Моргенштернам понравился — серьезностью, вниманием, спокойной уверенностью. Смущало их лишь одно: он подчеркнуто говорил с ними по-русски, хоть чувствовалось, что ему проще и естественнее говорить по-украински. Тем не менее их попытки перейти на украинский, которым они в достаточной степени владели, Василий Андреевич не поддержал. Следовало ли понимать это как нежелание более неофициальной атмосферы или как боязнь показаться этаким селюком перед столичными жителями?

Владимир Александрович боялся отпускать жену одну к ночному уже поезду и уговаривал ее оставаться до утра в больнице, а когда она отказалась, хотел сам проводить ее до станции. Он он был еще слишком слаб и от этой идеи пришлось отказаться. Выручил опять доктор Копытко: поняв, о чем так напряженно совещаются супруги, он позвал одного из больных — деда Киндрата — и поручил ему проводить до полустанка Софью Романовну, ее же успокоил тем, что деду с его бессонницей очень полезно совершить моцион перед сном.

Дед Киндрат оказался разговорчивым спутником, почему-то тоже пытавшемся говорить по-русски, что ему совсем не удавалось, хоть он

очень старался, добросовестно коверкая слова. На этот раз Софья Романовна не выдержала:

— Чому ви, Кіндрате Панасовичу, намагаєтесь розмовляти зі мною російською мовою? Хіба ж я не розумію української?

— Та воно, бачте, так наче культурніше має бути, — смущився дед.

— Це ви з поваги до мене?

— Авжеж!

— От і ми, євреї, щоб бути зручнішими для когось, приемнішими, відмовились від своєї мови. Невже й українці хотять того ж?

Дид Кіндрат оказался явно не готовым к дискуссии о судьбах украинского и еврейского языков. Он только поторопился заверить, что о евреях они ничего плохого не думают, а его так и вообще когда-то спас доктор Финкель (он говорил — Фынкэл), а еще у них в МТС работал когда-то толковый механик Яша Шайдюк, а еще...

Получалось, что вся жизнь дида Кіндрата как вехами утыкана евреями. Эта смешная мысль пришла в голову Софье Романовне, но она ее, конечно, не высказала.

До полустанка дошли довольно быстро, да и электричка показалась минут через десять. Софья Романовна поблагодарила своего спутника, галантно не покинувшего ее до самой посадки в поезд. Ей предстояло еще сегодня ночью начать поиски этого антибиотика, а главное — Бори Гольдшмита, чтобы, если он не в отпуске, привезти его в Крихалевку. Он же как раз гастроэнтеролог. Правда, не обидят ли они этим визитом доктора Копытко? Не подумает ли он, что они ему не доверяют? И об этом тоже нужно посоветоваться с Борей. Уж он найдет оптимальное решение.

Владимира Александровича положили в палату, где он оказался шестым. Место его — прямо у дверей, может, и было не лучшим, но для его сегодняшнего состояния подходило, ибо ему все еще приходилось часто выходить.

У окна лежал очень худой мужик средних лет, не прореагировавший на приветствие Владимира Александровича. Он как будто бы прислушивался к чему-то внутри себя. На «Добрий вечір» ответил с угловой койки белобрюхий хлопчик, оторвавшийся от книжки, в которой наметанный глаз старого книжника Моргенштерна легко признал «Графа Монте-Кристо».

Остальные обитатели палаты допоздна гуляли на улице и вернулись, лишь когда дежурная сестричка Галя, сама собравшаяся отдохнуть, крикнула:

— Ану, гультяї, вимикайте світло! Вранці їх не піднімеш, ввечері — не заженеш.

Пока палата уснула, еще успели обсудить заболевание Владимира Александровича и его версию о травянном клопе. Дид Кіндрат поставил

ее под сомнение, хоть признал, что есть такие паучки, которые, будучи съеденными коровой, вызывают у нее вздутие живота.

Версия Софии Романовны на счет старого сала понравилась больше:

— Влітку треба обережніше з ним, хіба що затовкти борщ, та й то — з часником, з часником! Ну й чарку, звичайно, для дезінхвекції.

Зашла речь и о том, почему евреи не едят свинины.

— Вважається нечистою твариною, — объяснил Владимир Александрович.

— Та, конечно же, нечиста. Одно слово — свиня, — согласился дид Киндрат. — Але же чистіше все інше, что ми юмо? На тій самій землі росте, тісю ж хімісю живиться.

С большим удивлением прореагировала палата на сообщение Владимира Александровича, что и мусульмане, в том числе — арабы, не едят свинины.

— Так чего же они воюют? — простодушно спросил дядько с соседней койки, вроде единственной достойной причиной войны могло бы стать разное отношение к свинине.

Владимир Александрович только улыбнулся в темноте. Чувствовал он себя получше, и разговор не раздражал его, а участники его не мешали, хоть в палате становилось довольно душно, и похрапывание, доносявшееся из-под окна, обещало ночь с музыкальным аккомпаниментом. «Одну-две ночи можно и потерпеть, лишь бы поправиться побыстрее», — подумал Владимир Александрович.

Ночь прошла относительно спокойно. Утром на обходе доктор Копытко, осматривая и расспрашивая Владимира Александровича, удовлетворенно кивал, как бы соглашаясь со своим собственным подтверждающимся прогнозом. Но Моргенштерна опять поразило, что только к нему Василий Андреевич обращается по-русски. Это уже выглядело определенной демонстрацией, смысл которой оставался неясным. «Значит, я, еврей, не должен лезть в украинский мир? Или это все же комплекс неполноценности?» — подумал Владимир Александрович, но зависать на своих предположениях не стал: в конце концов, принципиальных претензий к доктору Копытко у него не было.

Софья Романовна появилась после обеда с антибиотиком и Борей Гольдшмитом, который сразу же нанес визит главврачу. Судя по времени, ушедшему у них на беседу, они нашли общий язык. Да и как не найти его с Гольдшмитом при его божьем даре общительности? А тут же еще как-никак коллега, питомец того же Киевского медицинского, а значит — общие преподаватели и почти общие воспоминания.

Короче, когда Боря Гольдшмит вышел от Василия Андреевича, все стало ясно: во-первых, привезенный антибиотик уже не нужен, во-вторых, никаких обид и подозрений и в помине нет, а наоборот — есть приглашение на обед к главврачу, от которого Софья Романовна попыталаась отказатьсь, но, пристыженная Борей, согласилась.

Как говорится, обед прошел в теплой и дружественной обстановке, подогреваемой отличным самогоном. А это средство доводило Борина талант общения до уровня гениальности, вследствие чего через очень короткое время исчезли Василий Андреевич и доцент Борис Моисеевич Гольдшмит, а появились Вася и Боря, общавшиеся на «ты», причем Боря так фонтанировал шутками и рассказами из студенческого и больничного быта, что у очень симпатичной жены Копытко — Марии Ивановны — просто рот не закрывался от смеха.

Софья Романовна, в самогонной части обеда почти не участвовавшая, наблюдала, как Боря безоговорочно завоевывал этих, еще сегодня утром незнакомых ему людей, как легко преодолевал барьер между ними, вернее, просто доказывал отсутствие этого барьера. «Неужели, — думала она, — что-то действительно разделяет этих людей? Порождает недоверие между ними? И все же они такие разные — весь искрящийся и пульсирующий Боря и добродушный, но гораздо более сдержаный Василий Андреевич. А сосед Ковальчук? И его бы Боря покорил? Что же это за качество такое? Что за свойство?»

Возвращаясь в Киев, Софья Романовна все продолжала думать о почему-то задевшем ее нежелании доктора Копытко принимать ее украинский язык. Ей вспомнилась фраза ее младшей сестры Жени: «Хорошие мы или плохие, это не имеет значения: им надо, чтобы мы стали такими же, как они, то есть перестали быть самими собой». Чтобы оставаться собой, Женя уехала в Израиль. Но неужели для остающихся существует только растворение?..

Софья Романовна хотела спросить об этом Борю, но он уже бурно общался с каким-то дядькой дачно-огородного вида, обсуждая избрание Кучмы, причем явно украинский дядька стоял за национального нигилиста Кучму, а Боря — против, именно в силу безразличия его к украинству и незнанию языка. «Может, евреи действительно суются не в свои дела? — подумала Софья Романовна и тут же возразила себе: — Или мы живем здесь и тогда это и наши дела, или...» Она опустила очевидное следствие.

Электричка погромыхивала мимо пригородных полей и перелесков, останавливалась у полустанков, и в вагоны вливались люди, говорящие по-украински, по-русски, а иногда даже по-цыгански. И Софье Романовне вдруг остро захотелось услышать еврейскую речь, настолько остро, что она, припоминая те несколько известных ей еврейских слов, дернула Борю за рукав и спросила: «Вус эрцех?» Боря от неожиданности застыл на мгновение, а затем переспросил: «Вус эрцех?» и сам себе ответил: «Рэсэфэсэрцех!»

Рина Левинзон

Рина Левинзон — пишущая по-русски израильская поэтесса и переводчица, наша бывшая соотечественница.

*Представляем вниманию читателей
ципл ее оригинальных стихов.*



А белый снег в полях ложится ровно,
и черный дым уходит в небеса.
Я на суде отвечаю, что виновна —
не видела, не знала, не спасла.
Мерещатся в очах моих бессонных,
и видятся, как будто наяву —
глаза детей, товарные вагоны,
ползущие в глухую синеву.
И тянется рука к полоске света,
но вечной темноты не превозмочь,
и нет конца безумию планеты —
товарный поезд, ужас, лагерь, ночь.
Пока жива, я повторю упрямо
и выучу погибших имена.
Все длится, длится разрушенье храма,
и маму забирают у меня.



Быть женщиной — дышать судьбой,
ни ада не страшась, ни рая.
Не притворяться — быть собой,
и жить, путей не выбирая.
Быть женщиной — суметь собрать
под этот лепет лебединый
способность жить и умирать
в отрезок времени единый.
Быть женщиной — себе пенять,
ни мору не боясь, ни гладу.
Быть женщиной — соединять
все то, что тянетя к разладу.



А жизнь и есть тепло и торжество,
короткое паренье над веками.
Не надо добиваться ничего,
а просто быть, как дерево и камень.
И просто воздух медленный вбирать,
не умирать, покуда не приспело,
и не просить, и ничего не брать,
а только жить легко и неумело.



Я с тобой прощаюсь, день прошедший,
подаривший горстку теплоты.
Что б ни обещал мне ангел веший,
никогда не повторишься ты —
со своей тоскою телефонной
и притихшей осенью в окне.
Ты исчезнешь, словно сполох сонный,
словно ветка хрупкая в огне.
Нехотя, почти не оглянувшись,
ты уходишь, унося с собой
этих суток солнечную сущность,
так и неразгаданную мной.

ИЕРУСАЛИМ

Мне нравится этого города цвет,
Его серебристо-жемчужный оттенок,
И светлые тени от гор и от стенок,
И то, что все видно на тысячу лет.

И эти оливы с Масличной горы,
И эта трава Гефсиманского сада.
Быть может, они-то как раз и награда
За то, что из дому ушла до поры.



Не так уж много времени на все,
уйдет луны серебряная долька,
и жизни ледяное колесо
скользнет вперед, скользнет вперед,
и только.

И ветряные мельницы во мгле
растают на пустеющем просторе ,
и уходя, я поклонюсь земле,
благодаря за счастье и за горе.



Черные поезда смерти,
движущиеся коробки уничтожения,
чье-то глаза смотрят на меня сквозь решетки,
глаза, похожие на мои,
глаза, которых уже нет.
Эти глаза спрашивают меня:
«Ты жива? Что ты сделаешь со своей жизнью?»
Я отвечаю: «Вы не забыты, и поэтому
я все оставила и приехала в Израиль.
Может ли это утешить вас?» — спрашиваю я.
И не слышу ответа.

Александр Вознесенский

В домашнем архиве А.И.Дейча (1893–1972) сохранилась папка с неопубликованными воспоминаниями его многолетнего друга Александра Сергеевича Вознесенского (1880–1939), когда-то очень популярного драматурга, поэта, прозаика, переводчика, кинодеятеля. Он родился в г.Вознесенске (отсюда его псевдоним, а наст.фам. — Бродский) Херсонской губ., где прошло его детство. Учился в гимназии г.Николаева, потом в Московском университете, по окончании которого в 1904 г. работал в «Одесских новостях». После Одессы — Киев, некоторое время живет в Екатеринославе (Днепропетровске). В Киеве выпускает ставшую известной книгу «Поэты, влюбленные в прозу» («Гонг», 1910). Его оригинальные пьесы («Слезы», «Актриса Ларина», «Цветы на обоях», «Конец маскарада» и др.) ставились в лучших театрах Украины, Москвы, Петербурга.

Заметна роль А.Вознесенского в кино. Он открыл в 1917 г. в Киеве Студию экранного искусства, был одним из руководителей курсов экранного искусства в Петрограде в начале 20-х годов. По его сценариям было снято более двадцати фильмов, а теоретические его взгляды о кино изложены в книге «Искусство экрана» (Киев, 1924 г.).

Был репрессирован, скончался 25 января 1939 г. в ссылке в южном Казахстане.

В одну из поездок в Париж в 60-е годы мы с А.И.Дейчем случайно встретились в доме младшей дочери Ф.И.Шаляпина с известной поэтесой русского зарубежья Софьей Прегель. Она возглавляла в эмиграции Одесское землячество. Софья Юльевна стала нас расспрашивать об А.С.Вознесенском. Оказалось, что она — его двоюродная сестра и многие годы ничего не знала об участии своих родственников в Украине. Тогда имя А.Вознесенского было под запретом. И только в конце 80-х годов стали появляться его стихи — в «Огоньке», в «Дне поэзии», а в 1995 г. в знаменитой антологии Евтушенко «Строфы века». Есть упоминание об А.Вознесенском в недавно вышедших «Дневниках» К.Чуковского.

Сохранившиеся воспоминания А.С.Вознесенского «Начала века. Книга ночных» содержат два раздела, «две линии», как пишет автор:

«Первая линия — быт еврейской интеллигенции предреволюционной эпохи, почти не описанный, кажется, в нашей литературе. Между тем, быт этот несомненно интересен тем, что заключал в себе много исторически-запоминающей «специфики». Еврейская интеллигенция, — еще кровно связанный с породившей ее торговой и ремесленной средой и уже умственно отделявшаяся от нее, — жила с одной стороны жизнью, ассимилированной с бытом интеллигенции русской, а с другой стороны жила в обособленной атмосфере «еврейского вопроса», в моральном гетто, в котором держали ее гонения царского правительства, не допускавшего еврейскую часть населения к правовому и культурному слиянию с основным населением страны. Среди этой еврейской интеллигенции я и провел начальную часть своей жизни».

Во втором разделе («второй линии») воспоминаний дана серия портретов — современников автора. Главы о посещении студентом Вознесенским Льва Толстого, о встречах с И.Репиным, С.Есениным, Вал.Брюсовым, Гордоном Крэгом, Станиславским, о дружбе с Леонидом Андреевым, композитором Ильей Сафом, драматургом Семеном Юшке-

вичем и другими деятелями отражают литературно-артистическую жизнь Киева, Москвы, Петербурга того времени. Папка с воспоминаниями А.С.Вознесенского пролежала многие десятилетия. Не надо забывать, что они писались в конце 20-х — начале 30-х годов и, естественно, несут оценки на уровне сознания того времени. При этом воспоминания не лишены элементов вольного дыхания, которое позже было наглухо перекрыто. Остановить и отразить движущееся время можно в кино-каре, в фотографии, и, конечно, в воспоминаниях, дневниках, письмах. Именно поэтому сейчас такой большой интерес к такого рода литературе. На мой взгляд, колоритные воспоминания А.С.Вознесенского заинтересуют мыслящего и любопытного читателя.

Предлагаем из первого раздела воспоминаний А.С.Вознесенского главу «Маруся Воронова», а из второго раздела — эссе о популярном драматурге и прозаике начала века Семене Соломоновиче Юшкевиче (1868, Одесса — 1927, Париж).

Вступление и публикация Евгении Дейч

МАРУСЯ ВОРОНОВА

Раньше всего вспоминаю запах.

Какой-то особенный, неповторимый аромат старины, уюта, патриархальных добротных вещей, встречавший пришедшего в передней и сопровождавший его в больших комнатах, не очень светлых из-за деревьев, посаженных по улице вдоль окон.

Иногда в старых домах я и теперь улавливаю на мгновения этот запах, который сейчас же рассеивается, потому что теперь он очень поверхности, не связан с сущностью дома, в который и крылось, вероятно, очарование аромата, памятного мне навсегда.

Сущностью дома генерала Воронова была для меня его дочь — Маруся. Маленькая, изящная, не описательно, а действительно похожая на севрскую статуэтку девушки, с лицом красивым красотой царевны русской сказки. Старшая сестра моя уверяет до сих пор, спустя лет сорок-сорок пять, что более миловидного лица в жизни она не встречала.

Я происходил из «очень» еврейской, если можно так выразиться, семьи. «Очень» заключалось в том, что дед мой, — хотя и был первым в городе евреем, выучившимся русской грамоте, крепко и гордо держался своего еврейства и старшего сына послал в раввинское училище в Житомир. Окончив курс в этом училище, отец мой великолепно знал талмуд и все тонкости гебраических книг, и только неугомонная страсть к культуре заставила его изучить латинский язык, стать студентом (тоже первым из евреев нашего города) и, наконец, сделаться врачом. Дед мой с материнской стороны, в свою очередь, был одним из почтеннейших евреев города, построившим на свои средства школу для бедных детей, талмуд-тору.

И меня в детстве по традиции пробовали обучать древнееврейскому языку, для чего приходил к нам старичок в длинном потертом коричневом пиджачке. Языка я не запомнил, но остались в памяти навсегда маленькие черные точки, к удивлению моему быстро перемещавшиеся в седенькой бородке учителя. Это были блохи, которых никогда я до тех пор не видел.

Религиозности в нашей семье я не наблюдал, и, значит, то «очень» еврейское, которое по воспоминаниям моим было присуще дому, носило характер скорее национальный, чем религиозный. Дети не молились и не знали никаких молитв, отец бывал в синагоге только раз или два в году, по большим праздникам, да и то вероятно ради стариков-родственников, по-еврейски (на жаргоне) родители изъяснялись между собой редко, преимущественно тогда, когда хотели, чтобы разговор не был понятен детям. И тем не менее авторитет еврейского «духа» был в доме настолько значителен и непреложен, что выглянув раз в окно и увидев, как отец мой мирно беседует на улице с человеком, которого называли «мешимед», я был потрясен. Особенно поразило меня то, что при прощании отец подал крещеному еврею руку. Мне было тогда лет восемь или девять.

И вот в эту самую пору я увидел на вечеринке у тети Мани, сестры моей матери, девочку, которой суждено было сыграть в моей жизни незаменимую роль. Девочка стояла под «елкой», которую изображало большое олеандровое дерево в кадке, обвшенное пестрыми стеклышками, золотыми орехами и картонными рыбками и птичками. В русские дома в эти дни привозились настоящие елки, а у еврейских интеллигентов, не желавших отставать от своих русских знакомых, но и не согласных соблюдать религиозные обычай христиан, устраивались для детей подобия елок: сообщалось внешнее сходство и в то же время сохранялась внутренняя отдаленность. Символом этой двойственности и являлась елка без елки, елочные украшения на олеандре или другом комнатном растении в кадке.

До сих пор помню событие, молниеносно поразившее мое детское воображение. Маруся Воронова стояла под елкой и ела вкусное пухлое пирожное с кремом. Вдруг, надкусив пирожное, белоснежно одетая девочка сделала хорошеньким ртом гримаску и протянула пирожное черненькой девочке, стоявшей рядом с ней:

— Доешь, если хочешь, Ревекка. Слишком сладкое.

Жест и слова показались мне царственными. Пирожное могло быть слишком липким, слишком черствым, но «слишком сладким» ничто не могло быть для моего девятилетнего вкуса. Это был первый парадокс в моей небогатой опытом жизни.

Я полюбил Марусю Воронову и любил ее до восемнадцати лет маниакальной, всепоглощающей любовью. Впоследствии, описывая одного из юных героев своих, я уверял: «Ему казалось, что это не любовь,

потому, что он вокруг не наблюдал ничего такого. Мальчики, потом юноши учились, придавая важность успехам, болтали с увлечением, играли, катались на коньках и велосипедах, говорили о девочках, девушках... Всего этого он не знал, нет, не понимал даже. Он учился очень хорошо, был на отличном счету у преподавателей, но это только для того, чтобы люди «не приставали», чтобы можно было думать о «своем». А свое было только — она. Всякая иная мысль была мыслью о чужом, навязанном, ненужном. Не было солнца, было «она пришла», не было тьмы, было «ее нет», на каждом лепестке, листике, травинке было написано ее имя: иначе они не цветли бы. Каждая птица чирикала о ней, и в каждой капле воды она переливалась. Какое страшное, нет — смешное в устах людей это слово «любовь»: разве можно взглянуть на какую-либо девушку в мире, где существует она?

И Европа, и Азия, и Австралия, и остров Целебес и все другие, какие он знал, — жили, боролись, дышали только потому, что таили надежду когда-нибудь ее дождаться. И все страдания мира, о которых он читал, — а он любил историю, эту Библию человеческих страданий, казались ему тусклым зеркалом тех мук, которые он переживал, когда она не пришла, не взглянула, не сказала. Нет, это была не любовь, это было самосожжение феникса, который, сгорая, ежесекундно возрождался из пепла...»

Вероятно, когда я писал эти весьма несовершенные строки, я вспоминал еврейского мальчика, томившегося тысячи дней и ночей в темнице своего никак не нарекаемого чувства к маленькой генеральской дочке. Я помню точно, что мне было девять лет, когда я «решил» жениться на ней. Мне казалось таким простым и ясным исходом, чтобы она и я жили вместе, как живут мои мать и отец, чтобы счастливые родители ее и мои приходили в наш радостный дом и чтобы Маруся, обнимая меня, изучала арифметику со мной вместе. О жизни пола я тогда понятия не имел и по наивности узнал о нем у гимназистов, будучи в третьем классе.

Но все это едва ли интересно само по себе. Любопытная канва, на которой жизнь расшивала не совсем обычный узор: интеллигенция маленького южного городка, населенного евреями и русскими (так у нас называли всех не-евреев, игнорируя то обстоятельство, что большинство жителей были украинцы), своеобразно спаенная относительной культурностью — с одной стороны и своеобразно разобщенная проклятым «еврейским вопросом» — с другой.

Интеллигенция состояла из нескольких врачей, одного-двух адвокатов, учителей прогимназии, судебских чиновников и некоторых офицеров.

Когда впоследствии пришлось разрозненно знакомиться из книг и журналов с историей русской революции и убеждаться в том, насколько действенную роль, начиная с декабристов, играли в ней отдельные выходцы из военной среды, — мне неизменно приходила на память фигура первого «революционера», которого я увидел в своей жизни. Встретил я его в доме Воронова: это был артиллерийский офицер. Вскоре он был

арестован, разжалован, сослан, но тогда, будучи гимназистом, — я широкими-преширокими глазами смотрел на этого таинственного человека, о котором в нашем доме шептались, что «его подозревают....» Это было тем более удивительно и завлекательно, что революционер был единственным в городе титулованным человеком: он был барон.

Недавно только — при случайной встрече со стариком, оказавшимся моим земляком, — я узнал, что барон был тогда не одинок: в артиллерийской бригаде, где он служил в нашем городке, существовала и действовала маленькая «ячейка».

В доме отца военные не бывали. Как во сне помню только низенького человека с эполетами, в очках и с бородой, который играл у нас в винт, поглаживая меня по голове, и с улыбкой покрикивал иногда на партнеров: «Карты к орденам!», «Карты к орденам!» Ему казалось, вероятно, что партнеры видят друг у друга карты.

Это и был генерал Воронов. Вскоре он умер. Елизавета Ивановна — его вдова — была примечательным человеком. Потом я многое слышал о генеральше, о ее былой красоте, любви к мужчинам (уверяли, что муж ее даже поколачивал за это) и необычайной доброте. Она дружила со всеми бедняками-евреями, жившими в окрестных дворах. Сам я однажды вечером застал у нее в столовой за чаем дряхлую еврейку, которая носила по дворам кур для продажи. В нашем доме эта Гитля или Ривка никогда не удостоилась бы такой «чести».

Домашние соотношения среди местной интеллигенции были таковы, что евреи могли бывать в нашей семье запросто, без приглашений, а русские бывали только на званых вечерах, хотя большинство из них искренно любило и почитало моего отца. Этому немало способствовало, конечно, то обстоятельство, что он был постоянным врачом в их домах, куда приезжал на своих знаменитых в городе «дрожжах» с неисчерпаемым запасом шуток, анекдотов, изречений и т. п.; несколько кокетничая, может быть, своим еврейством, он любил приводить перед русскими слушателями цитаты из талмуда или мишны, тут же переводя их на русский язык. Дрожки же были популярны, главным образом, своей старомодностью. В конце концов, когда старшая сестра моя поехала однажды на базар, она осталась посреди улицы на сиденье, державшемся на двух задних колесах. Кучер же с лошадью и передком укатили дальше: он не подозревал о катастрофе, а сестра, вначале ошеломленная, потом стеснялась кричать ему вслед, чтобы не насмешить прохожих.

Что национальная рознь создавалась и раздувалась искусственно, я, не понимая, чувствовал еще ребенком, потому что с раннего детства наблюдал самые искренние, простые и благодушные отношения между еврейским и не-еврейским населением городка, пока не вмешивалась в это дело агитация «свыше». Помню даже, как белесая краснорожая кухарка Авдотья кричала в сердцах уходившей от нас горничной, которую «переманила» подгородняя помещица в свою усадьбу: — Будешь

жалеть! Разве у наших жить можно? Только жиды настоящие люди, они человека понимают и жалеют.

В гимназии я ни разу за восьмилетнее пребывание в ней не приметил случая, чтобы ученики дружили или враждовали, любили или ненавидели друг друга не по индивидуальным признакам, а по национальным. Вот почему я с восторгом выслушал впервые объяснение «еврейского вопроса» по существу из уст все той же удивительной генеральши Елизаветы Ивановны, матери Маруси Вороновой.

Я пришел к ним, как всегда, к вечеру и застал на чайном столе незавернутый номер газеты «Новое время». Старая женщина, щуря свои все еще красивые глаза, с брезгливостью отбросила газету куда-то в угол и сказала:

— И читать не буду эту гадость. Поручик принес (она называла фамилию). Говорит: статья про евреев. Сын протопопа: все понятно.

Я был настолько молод, что наивно подумал так: сын священника не любит евреев за то, что они другой веры. Но генеральша — раз и навсегда — разбила мои иллюзии.

— Неужто вы не понимаете, Саша, что им нужно: и властям, и попам, и всем, кто живет от народа? Им нужно, чтобы народу было кого ненавидеть за все то зло, что сами они делают ему. Вот они и указывают: от жидов идет зло, во всем жиды виноваты. Ну, темные люди этому веру и дают, а кто с сознанием, еще больше власть ненавидит. Только много ли у нас с сознанием, когда народ нарочно в темноте держат?

За дальностью времени я передаю, быть может, не совсем точно слова, но смысл передаю точно. Это был поистине первый для меня урок политграмоты по национальному вопросу, который даже в еврейской семье моей трактовался по шаблону, то есть исторически путанно и узко.

Любопытнее всего то, что «лекторша» моя до всего этого дошла, конечно, лишь своим природным умом, т.к. была из «простых» и образования не получила никакого: молодой офицер женился по любви на красавице из деревни. Но у матери, дополнняя девичью прелесть дочери, делали для меня дом Вороновых каким-то непреодолимым соблазном, и я стремился туда сквозь все свирепые преграды, которые строили для меня и общество и семья.

Дело в том, что — быть может сейчас это трудно понять — в царствование Александра III интеллигенция была до того напугана и парализована властью, все еще терроризировавшей страну в ответ на убийство Александра II, что никакого «общества» вне высочайше-разрешенных провинций, особенно малая, просто не знала. Семьи и люди, опасаясь всего «сомнительного», жили по зримой и незримой указке правительства. Иначе «вели себя» революционеры. А интеллигенция в массе своей была либеральна, но отнюдь не революционна.

Правительство же хотело обособленности еврейства, создавало для него «черту оседлости», не впускало в гимназии, в университеты и т.д.

Могло ли слабое подобие общества идти наперекор сильному правительльному курсу? Конечно, нет. Я уверен, что если бы в каком-либо городе в те времена русская и еврейская интеллигенция слилась в общей жизни, в едином повседневном обиходе, это выглядело бы, как некий начинаяющийся «бунт» и привлекло бы внимание жандармов.

А отчуждение одной из сторон, естественно, вызывало взаимоотчуждение. Не будучи органическим ища для себя оправдания, отчуждение это кормилось случайными поводами, возбуждающими рассказнями, шовинистическими анекдотами. Статьи «Нового времени», ритуальные бредни, и процессы, и рассказчики еврейских анекдотов служили одному и тому же делу, выполняли один и тот же заказ. На этот враждебный поход еврейское сознание не могло отвечать гостеприимством.

В такой атмосфере и наш еврейский дом жил соответственной и шаблонной жизнью: к русским не питали, в сущности, злобы, но и не впускали их в свой интимный быт, потому что и русские, даже «самые симпатичные» держались обособленно и настороженно.

Исключение, казалось, составляла только Елизавета Ивановна, но и она — таков был дух времени — просидела молча, без движения, целых два часа, когда семнадцатилетняя Маруся сказала:

— Мама, я выйду замуж только за Сашу.

Произошло это так. Курс последних четырех классов гимназии я проходил в городе Николаеве, так как у нас была только про-гимназия, то есть первые четыре класса. Жил я на квартире у врача, предоставившего мне маленькую темную комнатку, где и днем приходилось зажигать лампу. В ней я проводил все неотнятное гимназией время. Часами писал письма Марусе или разбирал послания, полученные от нее. Она жила и училась в Одессе, в Институте благородных девиц, и чтобы письмо осталось непрочитанным, если даже попадется классной dame, она заполняла страницу вдоль, потом поперек, так что только до отчаяния терпеливый глаз мог выискать впоследствии какой-нибудь смысл в этом сплошном, мелко нанизанном узоре букв. Искусным посредником между нами в передаче таких писем был мой дядя Иосиф.

Летом, на каникулы, мы съезжались в родном городе, «изредка ви-делись». Изредка потому, что днем вообще «не принять» было встретиться, а по вечерам родители мои, зная о моем увлечении русской девушкой, всячески старались задержать меня дома. Если же я ускользал на «пляц» — так называлась большая площадка для военных занятий, обсаженная с четырех сторон вековыми вязами и дубами, — то большей частью встречал Марусю с матерью в сопровождении двух-трех офицеров, и в этих случаях никогда к ним не подходил.

От вечной «боли разлуки», как я ее называл, я почти всегда бывал изрядно мрачен и не знаю, чем мог привлечь беззаботно юную очаровательную офицерскую барышню, не интересовавшуюся, казалось, ничем, кроме повседневных институтских или домашних происшествий. Я не

помню, чтобы она упоминала когда-либо название книги. Но наивные стихи мои, которые я писал на разные «свои» темы и читал только ей, но ребячески-безудержные фантазии мои о жизни, о людях, о том «будущем мире», который я уже с ранних лет создавал в часы бессонных ночей, — она слушала чутко, как никто, и эти нежные минуты были лучшими в скорбную пору моего недетского детства, моей юности без улыбки.

Мне было шестнадцать лет, когда я после урока фехтования в гимназическом актовом зале записал в своем дневнике: «У нас обучаются фехтованию в жизни, где не фехтует никто, но не обучаются страданию в мире, где страдают все. Не пора ли создать специальные школы, где обучали бы «технике страдания», где извлекали бы выводы из опыта прошлого страдания, чтобы облегчить путь будущим страдальцам?»

Однажды — я только что окончил гимназию и приехал домой уже в синей фуражке студента — мы сидели с Марусей в гостиной их дома, и она играла мне на рояли музыкальную картинку «Ласточка и пленник», которую я любил за родную мне грусть узника, томящегося без исхода. Вечерело. Вдруг Маруся поднялась, подошла ко мне, обняла и, закрыв глаза, поцеловала. У меня закружилась от нежданного счастья голова. А когда я опомнился, девушки уже не было в комнате.

Поступок казался актом неслыханной в мире смелости и красоты. Я всю ночь не спал и писал какую-то необыкновенную поэму. Докончить ее мне не удалось, потому что на следующий день Маруся сказала матери свою решительную, приведенную уже выше, фразу. Два часа длилось молчание в сумеречной комнате, где сидели мы трое. Потом мать сказала:

— Пойдемте ужинать.

Еще через день она увезла Марусю в Одессу, а спустя неделю я уехал в Москву, в университет. Зимою я получил от родителей письмо, в котором, между прочим, сообщалось, что Маруся Воронова выходит замуж за офицера-кавказца, о котором однажды на плацу она сказала мне, сощурив глаза по-матерински:

— Он красивый... но очень глупый. Не понимаю, что в нем находят.

Впрочем, она не вышла за него. Вышла она замуж года четыре спустя, когда я давно уже погряз в неверии в жизнь и в неопрятности случайных и коротких связей. Муж ее был самым образованным и скромным из офицеров бригады. В советскую пору — мне говорили — он стал весьма ценным техническим работником. Едва ли, выходя за него замуж, девушка любила его. Но он был — русский.

Елизавета Ивановна вскоре умерла. А Маруся, как чеховская Милюсь, — где ты? Но для меня — так мне кажется — ничто в юности не возымело такого познавательного значения, ничто в складывающемся мироощущении моем не отложило столько организующей волю горечи — сколько печальная любовь моя к Марусе Вороновой, маленькой генеральской дочке.

СЕМЕН ЮШКЕВИЧ

Недавно в книге одного из советских писателей я прочитал о том, что Семен Юшкевич был глуп. Автора этого отзыва следует винить не по существу, а разве только за излишнюю резкость выражения, т.к. будучи урожденным одесситом, автор с детства, вероятно, воспринял такое суждение от старших об Юшкевиче и, не имея возможности проверить, сохранил его в неприосновенности до сих пор.

Одесса была городом сугубо торговым, кишевшим коммерцией и биржей. Не склонные к философскому умозрению жители любили все практически упрощать. Обладая необычайно развитой жизненной сметкой, одессит привык считать себя исключительным разумником. Живший среди этаких умниц Семен Юшкевич ни на кого из них не был похож. Некогда этот еврейский юноша, определенный родными в аптекарские ученики, «вдруг» уехал в Париж учиться. Потом вернулся, чтобы сделаться... «русским писателем». Все это было странно, непривычно, непонятно: не по-одесски. Разбираться в деталях было некогда. Гораздо легче решить: нелепый человек. Одесская скороговорка еще более упростила вывод: он глуп.

Познакомился я с Семеном Соломоновичем Юшкевичем в 1903 году в редакции «Одесских новостей». В этой газете напечатана была статья моя «Когда нечего есть». Сама тема ее, естественно, привлекала внимание читателей, среди которых немало было голодной молодежи. В редакции ко мне подошел рослый светловолосый человек и, осведомившись, я ли автор статьи, крепко сжал мою руку и назвал себя: Юшкевич. Он сказал:

— Экстерны* только и толкуют, что о вашей теме. Но меня не она интересует. Мне понравилось у вас, что «дома недоверчиво сторожили серую ленту улиц», что когда вы были голодны, все люди казались вам «высокими по росту, потому что нельзя было до них достать» и т.п. Вы беллетрист, а не публицист. Пишите рассказы.

Мы разговорились. Вскоре стали добрыми друзьями. Жена моя актриса В.Л.Юренева создала ряд ярких образов в пьесах Юшкевича, и это еще более углубило нашу связь и сблизило наши семьи. Настасья Соломоновна, вторая жена Юшкевича, была настоящая «подруга писателя». Она жила исключительно литературными интересами мужа и всеми силами старалась создать для него подходящую творческую обстановку в шумной и суетливой Одессе. Денег было немного, но Настасье Соломоновне помогал «устраивать мужа» ее неизменно-чудесный характер. Я не помню ее без доброй улыбки. Она освещала миловидное лицо этой

* Так назывались молодые люди, не попавшие в учебные заведения — главным образом из-за процентной нормы для евреев — и сдававшие экзамены при гимназии сразу за восемь классов. (А.В.)

женщины даже в самые тяжелые для семьи часы, и Семен Соломонович заражался, смягчался и тоже начинал улыбаться.

Мне кажется, что основной бедой жизни и творчества Семена Юшкевича было именно то обстоятельство, которое создавало среди одесских легенд о его «глупости». Он был не рационален. В нем не было ничего академического, ничего планированного, ничего «от ума». Он был артистически эмоционален. Он не был литератором, мыслящим на бумаге. Он был страстным актером, разыгрывавшим на бумаге свои роли еврейского бытописателя, русского драматурга, социального сатирика, трагического символиста и другие. Стоит посмотреть ворох газет и журналов того времени, чтобы найти подтверждение этому, быть может, несколько неожиданному для читателя — определению.

Вот вы узнаете из московской «Рампы и жизни», что Юшкевич — первый, если не единственный, русский драматург той эпохи. Одновременно вы читаете в петербургском «Обозрении театров», что Юшкевич — совсем не драматург и даже совсем не писатель, а какое-то сплошное недоразумение в русской литературе. П.С.Коган в своей критической статье называет Юшкевича «научным реалистом», а спустя несколько дней критик Войтоловский в «Киевской мысли» пишет: «Муза Юшкевича, несмотря на свой здоровый пышный румянец, одержима лихорадочным бредом. И потому, хотя темой его рассказов всегда является быть, но за этим видимым бытом всегда скрывается буйный романтический пафос, за каждым случайнym происшествием — какие-то трагические законы».

Достаточно хотя бы этих разрозненных откликов прессы, чтобы понять, насколько необычен был для своего времени первый русский драматург, являющийся сплошным недоразумением в литературе, и научный реалист, одержимый лихорадочным бредом. Когда мне лично предложено было редакцией «Одесских новостей» написать статью о Юшкевиче (по поводу постановки в Московском художественном Театре пьесы его «Miserere»), я назвал статью «Сын Хаоса» и начал ее так: «Отец Семена Юшкевича был — Хаос. Мать его была — Культура. Все поэты и все сумасшедшие — братья ей. Все простиутки и прекрасные, глубокие, светлые женщины нашей поры — его сестры».

Кажется, существует одна из принятостей такого рода, что о писателе можно говорить только, как о литераторе, но нельзя говорить, как о человеке. Так указано в кодексе неприкословенных принципов, доставшихся нам по наследству от литературных дедов. Так как опровержение смысла «принципиальных» заповеданий у нас все еще такое же нудное занятие, как и щелканье заведомо пустых орехов, то относительно всякого другого писателя, я, вероятно, уступил бы и писал бы о нем просто «критическую статью».

Но писать так о Семене Юшкевиче — обозначало бы обократить этого нашего современника, по крайней мене, на половину его необычной,

выпирающей за пределы всякой формулы, фигуры. А раньше всего это значило бы и самому не понять и не помочь понять дух Семена Юшкевича во всей его творчески-знаменательной целостности.

Поэтому я очень прошу редактора на этот раз отложить свой настороженный карандаш и не портить мне живой правды об Юшкевиче во имя мертвых дедовских заповеданий. Я хочу написать о целом Юшкевиче. Если же я отрублю от него половину, то убью его и отниму у литературы интереснейшего писателя, а у жизни — интереснейшего человека».

Однажды Семен Соломонович пришел к нам (это было уже в Киеве) чрезвычайно взволнованным.

- В чем дело?
- Вы знаете, кто я такой?
- Приблизительно знаю.
- Нет, вы не знаете... Я страшный антисемит.
- ?
- Вот читайте.

В одной из провинциальных газет, которую Юшкевичу дали в киевской редакции, помещен был возмущенный отзыв рецензента о пьесе «Комедия брака». Сатира на фальш и лицемерие брачных устоев в еврейской буржуазной среде, образ богатого и самодовольного еврейского коммерсанта, располагающегося после сытного обеда на диване, чтобы «поговорить кто и с кем живет» и тому подобные сценические обличения Юшкевича вызывали у туповатого (кажется виленского или минского) журналиста обвинения автора в «замаскированном юдофобстве», в потакании «погромным настроениям» и т.п.

— Здесь в театре сорок раз прошло мое «В городе», — бушевал Юшкевич, расхаживая огромными шагами по комнате, — и я читал о себе, как о «певце еврейской бедноты», как «неустанном борце с социальными бедами и экономическими нуждами своих угнетенных братьев», и вдруг я же — юдофоб и погромщик.

Действительно, было от чего заикаться и тереть рука об руку, как выходило это при волнении у Юшкевича. Его большие повести «Ита Гайне», «Человек», «Евреи», его пьесы «Голод», «В городе» и другие создали ему заслуженное имя печальника еврейской бедноты и, действительно, он в них выявил себя одним из немногих предшественников будущей социальной литературы. И в то же время его обличительные пьесы «Комедия брака», «Король» и в особенности повесть «Леон Дрей» все чаще вызывали нарекания и даже ненависть к Юшкевичу в зажиточных еврейских кругах. А так как они именно имели тогда влияние на прессу, то получилось так, что часть либеральной печати, обвинявшей обычно в антисемитизме Суворина и Пурешкевича, готова была присоединить к этим мрачным именам и литературно-светлое имя Юшкевича.

На так же быстро, как тускнел Семен Соломонович от неприятностей, оживлялся и молодо веселился он по всякому забавному поводу, причем

обладал исключительным даром прививать свое настроение и другим. Как еврей, он не имел права жительства в Москве и в Петербурге и, приезжая, на свои постановки в одну из столиц, должен был всякий раз хлопотать о прописке, оглядываясь на каждого околоточного и дворника. Конечно, это раздражало его, и однажды утром он рассказал мне в московской гостинице «Люкс».

— Сегодня ночью я видел райский сон.

— Какой?

— Будто собирались где-то на площади все московские городовые. Прямо кишмя кишат их фуражки. А перед ними стою я и чувствую себя неважко. И вдруг подходит ко мне гипнотизер Фельдман и подмигивает, указывая на площадь. Я тоже подмигиваю ему. Он делает какие-то пассы, произносит, как фокусник по-немецки «айн-цвай-драй» — и площадь совершенно пуста, словно «корова языком слизала»: исчезли все городовые.

В тот же вечер я снова был у Юшкевича. Он получил какую-то радостную телеграмму от М.Г.Савиной и решил завтра ехать в Петербург, надеясь, что Савина устроит его пьесу и сама выступит с ней. Поздно ночью, когда я уходил, Семен Соломонович пошел меня провожать, и в одном из переулков мы наткнулись на маленького полицейского, который стоял на посту, жалобно совал в рукава свои озябшие руки и безнадежно топал ногами о мостовую: мороз был крещенский, свирепый. Юшкевич остановился:

— Чем же помочь ему? — растерянно он спросил меня. Но я был так же бессилен в этом деле, как и он. Тогда Юшкевич достал из портфеля несколько папирос и подошел к полицейскому:

— Закурите, может быть, будет теплее, — наивно предложил он ему. Маленький городовой взял, и из-под обледеневших усов чуть слышно донеслось его «спасибо».

— Вот вам и райский сон, — пошутил я, когда мы отошли.

— Этого городового на площади, кажется, не было, — серьезно мне ответил Юшкевич. И предложил: — Поедем в кафе-шантан. Выпьем. А не то, будет опять скучно.

У «Максима» (кажется так назывался этот кабачок) он до того развеселился, что предлагал главному администрации выпустить его, Юшкевича, на сцену вместе с испанской танцовщицей.

Признаться, я ни от кого никогда не слышал таких нелепиц, какие слышал от С.С.Юшкевича, причем трудно было угадать, говорил ли он их нарочно или всерьез. Построенного человека порою оторопь при этом брала, и он спрашивал шепотом, озираясь:

— Неужели это тот самый Юшкевич, что пишет?

А Юшкевич продолжал без улыбки утверждать, например, что к половому обиходу надо приучать людей с самого раннего возраста и что он очень огорчен тем, что его 13-летняя дочь Наташа до сих пор

не познала всех радостей любви. Можно представить себе, как должны были звучать такие сентенции для одесских папаш, только что вернувшихся из синагоги.

И в то же время едва ли от кого-либо еще я слышал столько мимолетно-мудрых замечаний, получал столько внезапных «подарков мысли», сколько бывало их в случайно-оброненных фразах Юшкевича, особенно в интимной обстановке, среди домашнего спора, когда человек бывает воистину самим собой. Его сила была не в глубине или мощи мышления, а в необычной свежести подхода, в откровенной примитивности при обращении с понятиями, которые кажутся всем запутанными и сложными, в детской мудрости, которая умеет раскрыть ларчик просто, когда взрослые в поте лица возятся и томятся над ним.

Помню у А.Л.Волынского в петербургском «Пале-рояле» среди нескольких писателей шел бурный разговор о литературном «местничестве». Кого, мол, считать «первым» писателем того времени: М.Горького или Л.Андреева? Кто идет непосредственно вслед за ними: И.Бунин или А.Куприн? Какое место по праву принадлежит Е.Чирикову, Д.Мережковскому, О.Дымову и так далее? Семен Юшкевич встал и «отрубил»:

— Нелепость! Мы не бояре за царским столом. Мы солдаты на поле битвы. Боремся за культуру. Воюют люди не гуськом, а сомкнутым строем. Мы идем в ряд. Ни первых, ни вторых, ни пятнадцатых в нем нет. Каждый писатель нужен, и каждый важен, как единица в строю, на своем месте. Вот и все.

Это было неожиданно, ярко и правильно до конца. Спор был исчерпан.

Любопытно, что внешне С.С.Юшкевич всегда чуждался какой бы то ни было «писательской личины», как он, посмеиваясь, называл толстовки, бархатные куртки, широкополые шляпы и прочие атрибуты, введенные в обиход Л.Андреевым, М.Арцыбашевым и другими главарями тогдашней литературы. По наружности и по костюму его никто не принимал за писателя, что очень помогало ему «разыгрывать» случайных знакомых или спутников, выдавая себя за «профессора санкритского языка» или за «варшавского коммивояжера». И что еще любопытнее — это внутреннее писательское целомудрие, которое побуждало Юшкевича не говорить о своем творчестве, по существу, не открывать своих литературных замыслов, скрывать «кухню» своей большой, усидчивой, многотомной работы — в ту пору, когда большинство легкокрылых литераторов выбалтывало не только перед друзьями, но и перед газетными репортёрами каждую подробность в своих будущих планах, образах, темах. Часто они оставались «будущими» навсегда, так и не воплотившихся в «настоящую» действительность.

Мне пришлось провести множество часов, особенно вечерних илиочных, с С.С.Юшкевичем, когда задушевно говорилось почти обо всем, но не помню, чтобы мой словоохотливый собеседник распространялся

о своем творчестве, выдавал свои литературные мечтания или обсуждал уже написанное, возражая хотя бы критикам, умудрившимся толковать его полярно противоположно друг другу. Иногда он краткой репликой отмахивался от какой-либо критической выходки, как от назойливой мухи, не больше. У него всегда оставалась трогательная стыдливость неофита перед святыней литературы, к которой он приобщен был своим талантом. Он говорил много о творчестве вообще, о школах, методах писателей, но не о себе, как застенчивая девушка говорит вообще о любви, но не о своем избраннике, не об его ласках. Вот почему, будучи достаточно близок с Юшкевичем, как писателя, я узнавал его только из книг, а с тем большим интересом относился к его человеческой индивидуальности, столь своеобразной среди повседневно окружавшей его обстановки.

Когда наблюдаешь, бывало, Юшкевича в кругу семьи, где он почти тельно целует руки своей дочурки и откровенно робеет перед нею, где он со снисходительной нежностью взрослого вниМАЕт советам жены, незаметно опекая ее, как ребенка, где его с дружеской фамильярностью окликает по имени юноша-сын (от первого брака), — казалось, что видишь перед собою какой-то небывалый на земле человеческий образец: сына собственной дочери, отца собственной жены и брата собственного сына.

Все было талантливо-взбалмошно в жизни этого потомка «Хаоса и Культуры», но растрепаннее всего казалось его литературное творчество, путей которого никогда нельзя было предугадать. Едва ли даже хорошо знающие Юшкевича и его литературу помнят о том, что первые образцы так называемого «декаданса» в русской беллетристике дал именно Семен Юшкевич. Его сумбурные «Записки студента Павлова» были написаны в то время, когда официальный багаж этой литературной школы был еще в высшей степени портативен, ибо весь заключался с одной стихотворной строчке Валерия Брюсова «О, закрой свои бледные ноги».

Когда Юшкевича уже благословляют, как бытописателя еврейского «гетто», как «научного реалиста», он вдруг печатает драму «Чужая», произвоящую настолько «сумасшедшее» впечатление, что, несмотря на восходящую популярность автора, от пьесы отказываются все без исключения театры, наперебой ставившие его другие пьесы. Одна Комиссаржевская вела о ней с Юшкевичем какие-то переговоры, но ведь и она почиталась актрисой «святого безумия», да и переговоры кончились все-таки ничем.

Уже после революции, в 1918 году, когда вокруг грохотала гражданская война, получил я вдруг от Юшкевича из Одессы рукопись последней его пьесы, которая называлась «Страсти». Он просил меня передать ее в редакцию одного из журналов. Журнал отказался ее напечатать. Точного содержания пьесы я не помню, но вот что осталось в памяти о ней. Женщина любит одновременно двух мужчин. Кто-то из них бесп

редельно страдает, желая быть единственno любимым. Двадцать глаз вырастает у него, распятого в муке любви, тремя носами сразу вдыхает он тревожный аромат и сотни ушей напрягаются у него, чтобы выплыть у тишины успокоительный звук. Иногда в зеркале появляется «двойник». Он дразнит, мучает, высовывает язык, он даже порою выходит из рамы, чтобы допытать замученного человека. Один из мужчин перехватил записку к другому: в экстазе самоистязания он цепует неверную женщину и ее записку. Задумав убийство, он кружится, он танцует и смерть танцует вместе с ним перед женщиной, таящей благодать семени и оскверненной проклятием крови.

Нечто именно в этом роде. И в том же насыщенном тревогой восемнадцатом году С.С.Юшкевич пишет мне обширное деловито-спокойное письмо относительно своих новых, ультра-реальных пьес, в которых никогда не хотела выступать В.Л.Юренева как раз из-за прямолинейного их «бытовизма»: «Я был бы рад, если бы Вера Леонидовна согласилась выступить в «Сонькине»*, но, очевидно, она стоит на другой точке зрения. Покойная М.Г.Савина охотно выступала в моих пьесах, когда только представлялся случай, и последнее ее выступление было в небольшой роли в пьесе «Мендель Спивак» (это было вообще ее последнее выступление). Если я очень желал, чтобы Вера Леонидовна выступила в «Сонькине», то это было столько же для нее, сколько и для меня. С ее нежнейшим талантом она бы это выполнила первоклассно. Если Рошина бала так прекрасна в «Мендель Спиваке», то сколь прекрасна была бы Вера Леонидовна в роли жены Сонькина...»

И так далее — с тою же наивной настойчивостью, какая часто была свойственна Юшкевичу в абсолютно-безнадежных делах. «Предложите пьесу „Страсти“ Дувану (директор киевской драмы. — А.В.)», — пишет он мне после того, как я сообщил ему, что пьесу не берут даже и для печати, называя ее «ребусом без разгадки». Живя уже за границей и страстно тоскуя по родине, Юшкевич по-прежнему мыслил «вне плана», и, не понимая своего положения «эмигранта», ни тех требований, какие предъявляла к писателю новая эпоха, продолжал добиваться постановки своих пьес уже на советской сцене, и для советского экрана. Вот последнее письмо, которое я неожиданно для себя — в Днепропетровске — получил от него из Парижа в ноябре 1926 года, то есть незадолго до его смерти:

«Здравствуйте, милый Александр Сергеевич!

Я случайно узнал Ваш адрес**, и потянуло написать и написать вот по какому поводу. Вы много писали для кинематографа. Представьте, и я заинтересовался «немым» и написал несколько синопсисов для экрана. Бываете ли Вы в Москве? Имеете ли Вы связи в кинематографическом мире? Если да, то я пришлю Вам один синопсис. Просмотрите его. Если подойдет, буду очень рад. А пишете ли Вы для театра? Московский

* Пьеса о бедном сваре, выигравшем 200 000 рублей. (А.В.)

** Потом оказалось, что Юшкевичу сообщил мой адрес Илья Эренбург. (А.В.)

художественный театр (второй) прислал мне письмо, в котором просил прислать мою новую пьесу. Я ее послал, а через месяц получил ответ: благодаря за присылку, но «по целому ряду технических причин» не могут использовать ее. Есть еще новая еврейская пьеса (другая). Но куда с ней стучаться?

Напишите о себе. С жадностью все прочту. Я еще больше облысел. Конечно — седина. «Федот, да как будто не тот».

«Тот» не мог остаться от Семена Юшкевича, который весь был «русско-евреем», и хаотическая натура которого, изумлявшая многих у нас, была совершенно неприемлема в аккуратно-шаблоненных условиях Запада. Осип Дымов писал мне (кажется, в 1925 году) из Нью-Йорка, что и там дважды приезжавший «на гастроли Семен Юшкевич оба раза успеха не имел, но кое-что заработал». Это, конечно, не могло удовлетворить его мятеожных запросов. Его фраза в последнем письме ко мне «с жадностью все прочту» относилась, разумеется, не к моей именно особе, а к тому, что я мог бы ему написать о стране, с которой кровно связаны были все его помыслы и с которой он так бессмысленно разлучился.

Повторяю, что, кроме М. Горького, я не знаю писателей начала нашего столетия, столь искренно, по-настоящему социально настроенных, как это сказывалось в С.С.Юшкевиче. Кто-то мог бы оставить Россию после революции, но только не он. И в Париже он никогда не считал себя «эмигрантом», держался с полной лояльностью в отношении советской родины и желая продолжать служить ей своим творчеством, что вполне явствует и из приведенного письма ко мне.

Последний раз видел я Семена Соломоновича в Киеве, куда в конце 1918 года приезжал он вместе с И.А.Бунином для участия в литературном вечере: они читали свои произведения, причем Юшкевич имел огромный успех, а Бунин почти никакого. Прочитал Бунин один из прекрасных своих рассказов, но «академический» стиль его и суховатая манера чтения не могли, вероятно, удовлетворить молодежь в эти буйно-страстные времена, для которых неровный, взметающийся, пенистый Юшкевич был гораздо «созвучнее».

На следующий день, перед отъездом в Одессу, мы втроем обедали в гостинице «Континенталь». И тут запомнилась сцена, которую правило не счесть «символической», чем «бытовой». После того, как мы расплатились по счету, к которому уже было добавлено десять процентов «за услуги», Бунин достал из жилетного кармана и небрежным жестом кинул официанту золотой. Юшкевич невольно схватил его за локоть: — Зачем же?

— Пустяки, — наморщился Бунин и встал.

Золотой — были большие по тем временам деньги. Вокруг была масса голодных людей, разоренных войной и междуусобицей. Но Бунин оставался «барином», как и Юшкевич оставался «разnochинцем».

Я проводил его вечером на вокзал. Мы потолковали о будущей встрече, простились и он вошел в вагон. А перед самым отходом поезда вышел, снова крепко обнял меня и молча исчез. Словно почувствовал вдруг, что не увидимся мы больше никогда.

Людмила Титова

Стихотворение «У меноры» обнаружено в архиве недавно умершей киевской поэтессы Людмилы Титовой. Оно продолжает очень волновавшую автора тему Бабьего Яра.

У МЕНОРЫ

Листва в недолговечной позолоте,
А у меноры — плач скрипичных струн,
И мягко, как на торфяном болоте,
Здесь подается и пружинит грунт.

Мы отошли от горестных событий,
Чуть глуше думы о пережитом.
Печально, хмуро здесь, но приходите
К тем, кто погиб в ту осень и — потом.

А сколько ж их на самом деле было?
Их жгли, топили, чтобы — ни следа.
Но дышит кто-то под пудами ила —
Так все же приходите иногда.

В ночь с 9 на 10 октября 1991

Михаил Хейфец

Михаил Хейфец — известный израильский общественный деятель, правозащитник, в советском прошлом — узник совести, автор воспоминаний о лагерной жизни и общении с побратимами-украинцами. Об этом он говорил на презентации, на которой присутствовали и многие его солагерники.

Текст выступления М.Хейфеца воспроизводится с магнитофонной записи.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ «ПОЛЕ ВІДЧАЮ, ПОЛЕ НАДІЙ» (Киев, 1995 г.)

Я, дорогие друзья, даже не знаю, что вам сказать. Первый раз в жизни я на Украине. И это чудо! Столько лет я о ней думал, столько лет писал, и вдруг я оказался здесь.

Как возник мой интерес к Украине? Я ведь обыкновенный российский историк. Тема моя — народничество и народовольчество. Я изучал его и вдруг увидел, что исток этого движения — на Украине. Передо мной возникли фигуры людей, участвовавших в этом деле. И я, как историк, обязан был выяснить, почему они стали такими, что определяло их психологию.

Чем больше я читал о них, тем больше они мне нравились. И тем удивительнее казалась судьба народа, равного по величине французам и по территории Франции, но по мировому вкладу несопоставимого с французским. Можно было подумать, что народ бездарный. Но я уже знал, что это не так. И вот тогда я понял и осознал трагедию лишенного своей исторической судьбы народа.

Итак, я проникся большой симпатией к украинцам, представляя их только по книгам и совсем немножко — по ленинградским украинцам. Потом я стал преподавателем вечерней школы. Среди моих учеников — в основном, солдат, сержантов, прaporщиков — было много украинцев, к которым у меня после моих штудий сложилось уважительное отношение. И они это чувствовали, даже прямо говорили мне об этом. Для них оказался очень важным мой интерес к Украине, уважение к ней. И в результате моего прошлого опыта, в основном книжного, мне в зоне легче всего оказалось сойтись с украинцами.

До этого я оставался совершенно денационализированным человеком: понятия нации для меня просто не существовало. Это было начисто вынуто из моей жизни. Лишь в зоне я впервые увидел людей, для которых это дорого и важно. И они смогли мне убедительно объяснить, почему это для них важно.

Правда, до этого я и сам понимал, что Бог создал нас разными. Так Ему нужно, это Его воля. И если мы хотим стать одинаковыми, мы нарушаем Его волю. Это я понимал, но относил лишь на счет личности. А что Бог создал разные народы, и что личность народа — тоже творение Божье, что это Ему нужно для многообразия национальных личностей, из которых слагается человечество, этого я не понимал. Вот это мне и открыли мои друзья в зоне, и первыми среди них были украинцы.

Кто знает лагеря, тот знает и о том, что главное землячество в зоне — всегда украинское. Самое большое и самое боевитое. Да и самое трагическое. Потому что палачей у нас тоже подбирали из украинцев. В этом состоял безошибочный расчет: ведь человек становится настоящим палачом, когда он катует своих. Вот тогда он надежен, тогда он верен. Их опыт тоже использовался в зоне, прежде всего — по отношению к украинцам.

Нам, евреям, было легче. Скажем, капитан Зиненко плохо относился к евреям. Но это оставалось его личным делом: мог бы, ничем не рискуя, относиться и получше. А вот если бы он сделал послабление украинцам, ему бы не простили. Вот в чем состоял трагизм украинской общине.

Конечно, меня в моих знакомых солагерниках-украинцах привлекал прежде всего их интеллектуальный уровень. Говорю на основании своего опыта общения с различными землячествами, в том числе — и с еврейским. В них не было никого, кто мог быть мне столь же интересен, как, например, Василь Стус. Все, что он говорил, было не только интересно, но и необычно. Я не обязательно соглашался с ним, мы спорили, но это был человек с необычным взглядом на вещи. И это всегда вызывало интерес.

К тому же в этой общине сохранялось то, что в общем-то должно было исчезнуть, потому что лагерь, наверное, должен портить людей, выявлять и развивать в них пороки — угодничество, стукачество, предательство. Именно поэтому в лагере больше всего ценится благородство, самопожертвование. Ведь чем человек отличается от животного? Способностью жертвовать. Недаром религии начинались с жертвы, с необходимости отдать самое хорошее Богу. В этом смысл жертвоприношения. Зачем Богу эти бараньи туши? Но так человек приучался жертвовать очень нужное для себя, так Бог из людей делал Людей.

В моих знакомых украинцах в зоне это качество было развито. Я сам хотел стать таким, я учился у них. Ведь я оставался ленинградским интеллигентом, совершенно незнакомым с повадками лагерной жизни. Они приучали меня ценить добро в людях, отвечать на него.

А еще я учился у них быть евреем. Пусть я всегда помнил, что я — еврей, пусть никогда не скрывал, не отрекался и не стыдился этого, но я не понимал, какие обязанности налагает на человека его принадлежность к своему народу. Украинцы учили меня этому, и могу сказать:

мой путь в Израиль начался со знакомства с ними. Такой вот жизненный парадокс.

А теперь я должен сказать, в чем моя разница с моими друзьями-украинцами. Она заключалась в том, что они — бесстрашные люди, далеко не всегда расчитывающие варианты. Они выхватывали «сабли» и бросались вперед. А я понимал: передо мной враг и с ним нужно обращаться, как с врагом. С ним возможны хитрости. А тот же удивительный Стус не мог понять, как же эти надзиратели так себя ведут? Ведь они же украинцы! Ему это рвало сердце.

А я считал, что с врагом нужно действовать, как с врагом. Скажем, я хочу уехать в Израиль. Что я делаю? Всем говорю, что не хочу. Простейшая двухходовка. Но Стусу и его друзьям эта наука давалась очень трудно. Они жили иллюзиями, что врагам надо объяснить, обличить их, воспитать. Я бы сказал, что в моих друзьях-украинцах оставалось слишком много человеческого благородства в отношениях с врагом. Например, Микола Руденко совершенно не понимал, что перед ним враги. Ему и в голову это не приходило. Он просто считал: у них такая точка зрения, а у меня такая. Но ведь я хочу хорошего, как же они могут этого не понимать? Он остался для меня образцом такого удивительного милого благородства, хоть для себя я избрал другой путь — я хитрил. И в результате хитрости я и ушел в Израиль.

Но еще до этого я узнал, что всех моих друзей-украинцев сажают снова, по «новому» закону. Я сумел сообщить об этом за рубеж. А когда я оказался в Израиле, осознал: раз слово моих друзей убивают, я, как человек и литератор, обязан о них написать. Так родилась книжка «Украинские силуэты». Как еще недавний обитатель зоны, я знал, что людям легче сидится, когда они знают, что о них помнят и пишут. Даже практически легче, потому что все наши надзиратели, коменданты, начальники, отрядные, оперы — все они слушают радио. Их тоже надо понять: они ведь тоже, по сути, заключенные. У них единственная возможность соприкоснуться с историей — через зеков, которых они охраняют. Вот охранники, не отрываясь, и слушают радио, слушают специфически, выискивая информацию о своих «подопечных». И если они слышат ее, то ларька не лишают и в ШІЗО не сажают. Наоборот, они начинают уважать зека, которому в результате становится чуть легче сидеть, хоть он иногда и не понимает почему.

Как еще я мог помочь моим друзьям? Я написал книгу о них. Ее передавали по радио, а его слушали менты. Как видите, совершенно практическая цель.

Ну, а теперь мы дождались такого чуда, что эта книга издана здесь по-украински, и мы встретились в Киеве. И я очень счастлив, что я к вам смог приехать в гости.

Фаина Браверман-Горбач

Мемуарное эссе Ф.Браверман-Горбач вводит читателя в мир, давно исчезнувший. Но не бесследно, как доказывает своей публикацией автор.

«СКАЖИ МНЕ, ВЕТКА ПАЛЕСТИНЫ...»

Родилась я и росла в еврейской семье, в небольшом штетл очень далеко от Палестины, но совсем близко от Бердичева. Если кто-то в нашей Сальнице покупал новую мебель или десяток красивых общих тетрадей, перья «рондо» и красные чернила, то, можете не сомневаться, все это было «мейд ин Бердичев».

Звали меня Фейгеле, дедушка же — да будет память его благословенна — обращался ко мне кратко, но выразительно: «Ат!» Случалось это во время молитвы, когда нужно было, чтобы я не опрокинула кувшин с водой или не наступила на дедушкин талес. Я долго думала, что это дедушкино «ат» — мое таинственное второе имя. У бабушки ведь было два имени: Башева-Алтэ... Прошли долгие-долгие годы, пока я поняла, вернее, узнала, что «ат» — это личное местоимение женского рода 2-го лица единственного числа (по-русски — «ты»). Молитву дедушка произносил на лушн-кайдеш (на иврите) и на этом же языке обращался ко мне, не теряя драгоценного времени на лишние слова.

Дедушка наш был набожным, большую часть дневного времени, я это хорошо помню, он проводил за чтением Талмуда и, как говорили о нем в местечке, хорошо разбирался «ин ди клейне ойсилэх» — в маленьких буковках, то есть не только в основном тексте, но и в комментариях, напечатанных петитом. В дедушкиной комнате стояли старинные шкафы, полные больших фолиантов в красивых кожаных переплетах, но у нас, детей, доступа к ним не было.

У бабушки, дорогой нашей светлой памяти бабы Алтэ, были свои книги, из них я хорошо помню Хумеш или так называемый Тайтч Хумеш на идиш, с иллюстрациями. Длинными зимними вечерами бабушка усаживалась с большим ситом на коленях, рядом с собой ставила торбу с гусиным пухом и перьями. Перебранные пушинки и ободранные перья она складывала в сито, а отходы — в специальный мешочек. Я листала Хумеш, а бабушка рассказывала эпизоды, которые я ей заказывала. Больше всего мне нравился рассказ об Иосифе и его братьях. Привязанность к этому персонажу сохранилась у меня на всю жизнь, и, как оказалось, я разделяю ее с моим любимым еврейским писателем Башевисом-Зингером. Автор более 150 новелл, он считает жанр краткого рассказа самым изысканным, а наиболее совершенными образцами этого жанра — историю об Иосифе, рассказы Чехова и Мопассана.

Дедушку нашего — сдержанного, немногословного и всеми в местечке уважаемого рэб Бравермана, селяне называли «старий Мотл». Многие из них остались его должниками, так и не заплатив ему за покупки в лавке, которую он держал до революции.

Иногда мы с дедушкой отправлялись «на село» по моей просьбе: хотелось то вишен, то слив или яблок с ветки, то просто тянуло «экзотику». Иногда селяне нас угождали на месте, изредка давали «гостинцы» с собой. Гостиные эти были скучными, и, как мне помнится, даже зажиточные крестьяне скучно делились своим достатком, все село жило замкнуто, настороженно, и только в воскресенье после полудня, когда местечко уже остыпало после ярмарки — жаркой, шумной, с цыганами и медведем на цепи у их шатра, — на пыльный бульжник главной улицы выходили парубки и девчата в узорчатых хустках — огромных цветастых платках, в наимисте и обязательно при семечках — дзернатах. После этих прогулок соша (так называлась бульжная мостовая) вся покрывалась черной шелухой.

С бабушкой, во исполнение мицвы бикур холим (проводывание больных) мы иногда ходили в субботу в гости к ее больной, прикованной к постели приятельнице. По словам бабушки, эта женщина родила 22 ребенка («Зи от геот цвей ун цванциг киндер!»).

У бабушки часто собирались на «посиделки». Особенно яркие воспоминания о таких собраниях относятся к первой после голода весне. Зная, что меня ждет серия «ужасов», я устраивалась на диванчике, укрывшись потеплее, затаив дыхание, боясь что-нибудь пропустить из рассказов о погромах, об украденных еврейских мальчиках-кантонистах, о петлюровцах, деникинцах, большевиках и других мешимейдим (бандитах), о страшных случаях людоедства в голодные годы.

Любимой темой бабушки были рассказы о чудесах, связанных с именем Баал-Шем-Това. Я слышу и сейчас характерные зачины этих рассказов: «Эйн мул от мен гифрет дем Баал-Шем-Тов» («Как-то спросили у Баал-Шем-Това...»), «Дер Баал-Шем-Тов от амул гезугт, из амул гемуken...») («Баал-Шем-Тов как-то сказал, когда-то приехал...»). Кроме имени Бешта, с большим благоговением назывались имена хасидов и цадиков: дер Чернобылер ребе, дер Сквириер ребе, дер Тверер ребе. И, как бы на десерт, рассказывались анекдоты, связанные с именем Эршеле дер Острополер. Бесконечное количество этих анекдотов знали все — стар и млад, — и бабушка наша дорогая в их числе: она ведь родом была из Острополя!

Рождение бабушки, ее помолька с дедушкой, их женитьба — это была семейная майсэ (история), которую мы, дети, обожали и готовы были слушать всякий раз, когда семья наша собиралась по случаю семейного торжества или праздника. Мы начинали задавать окольные вопросы, чтобы в который раз услышать о том, как поженились наши дедушка Мотл и бабушка Алтэ.

Рассказывала бабушка, а дедушка, стыдливо потупив глаза, улыбался в свою седую, в желтых от табака пятнах, бороду. Вот что удержала моя память из рассказов дорогой бабушки, да будет вечной добрая о ней память!

Случилось так, что у нашей остропольской прабабушки, да будет благословенна ее память, дети умирали в раннем возрасте, и когда родилась наша будущая бабушка, ее мама обратилась к ребе с просьбой: помогите, мол, ребеню, советом, как сохранить нам этого ребенка, эту девочку? На что ребе ответил такими примерно словами: прежде всего, назовите девочку двойным именем, чтобы вторая часть его было имя Алтэ. Это привяжет ее крепче к жизни, и она доживет, с Божьей помощью, до глубокой старости. У девочки этой, продолжал ребе, уже есть а зивик (суженый). Это мальчик, которому в день рождения девочки сделали брит-милу. Найдите этого мальчика, и детей надо будет обручить.

Действительно, нашелся именно такой мальчик, но не в самом Острополе, а в другом местечке, в Сальнице, или, как евреи называли его по аналогии с известным библейским топонимом — Солхов, Солхе. Детей обручили, и стали малютки женихом и невестой с колыбели. Когда они подросли, их водили друг к другу в гости на праздники. Бабушка наша в раннем детстве потеряла отца, и сиротку все чаще стали привозить в дом ее будущего мужа. Шли годы, близилось время призыва Мотеле Бравермана на царскую службу, и решено было, что прелестная голубоглазая девушка с тяжелой каштановой косой до пояса — наша будущая бабушка Алтэ — останется ждать возвращения жениха в его семье. Затем, уже перед самым призывом, сыграли свадьбу, и Башева-Алтэ осталась в доме Браверманов в местечке Сальница.

Дедушка отбывал службу на Кавказе, в городе Боржоми. По большим праздникам бабушка надевала тканый с изысканным рисункомшелковый платок — подарок дедушки из Боржоми после службы. Кстати, на саму службу нареканий мы не слышали: дедушка, если мне не изменяет память, был наскоро обручен сапожному делу и тачал для господ офицеров мягкие кавказские сапожки. Но, вернувшись домой, он к этому занятию не возвращался. Предки наши Браверманы занимались пивоварением, откуда, очевидно, и фамилия.

Как звали наших пра- и прапрапрородителей? Чем они занимались для обеспечения куском хлеба в будни и халой в субботу? Многочисленными ли были их семьи? Давно ли они пустили корни свои в украинской Подолии? Ничего этого достоверно мы не знаем. Горько и стыдно сознаваться в этом, хотя мы, к сожалению, отнюдь не исключение. Остается засвидетельствовать то немногое, что еще сохранилось в памяти, что может оказаться интересным для последующих поколений нашей семьи, ибо общность судеб и типичность биографических ситуаций объединяет нас всех в одну большую еврейскую мишпухэ.

Прямого родства в Сальнице у нас не было. Имелась у нас межету-нэм — Старицкие, и двоюродные родственники бабушки и дедушки в Острополе, Уланове, в mestечках Каменец-Подольского района, в какой-то из Ушиц, не то Малой, не то Старой. С одним из таких дальних родственников я познакомилась где-то в 1939–1940 году, поступив на первый курс Киевского университета. Я училась на факультете западно-европейских языков и литературы, а мой родственник — на межмате. Потому ли, что из Ушицы, паренек был ушастенький и очень застенчивый. Он так сильно краснел, когда мы иногда встречались в бесконечных коридорах Красного корпуса, что я старалась избегать этих встреч... Иногда на базаре, покупая чернослив или орехи, слышу в ответ на мой вопрос о происхождении продуктов (постчернобыльский синдром): «З Малої Ушиці... із Старої Ушиці...» — «Чи ще є у вас євреї?» Подумав, отвечают: «Та був колись один, та вже, мабуть, помер...»

Местечко наше было довольно большим и имело 2 синагоги: а клойз — для верующих хасидского толка, и а шил — для более ортодоксальных евреев. Мой дедушка посещал ди клойз, так как происходил из хасидской семьи. Помимо синагог, имелась міква, расположенная на берегу речки, заливавшей весной огромную пойму, а летом превращавшейся в узкую, извилистую, полную пиявок ленту, называвшуюся «Хвоса». Конечно же, в mestечке были меламеды, которые еще в начале 20-х годов держали хедеры, в которые ходили мои старшие брат и сестра. Имелся и шойхет, красивый, с белой окладистой бородой и благородной осанкой — реб Симхэ дер шойхет. Были свои батлуним — люди со странными повадками. Например, реб Лейзер и его жена — да будет благословенна их память. Этот реб Лейзер славился своей поговоркой: «Вен их волт гевен зайн азой клиг айнт, ви майн вайб моргн», т.е. «Если бы я мог быть таким умным сегодня, как моя жена будет завтра». Жили в mestечке и свои капцуним — бедняки, для которых собирали цдоко. Одной бедной старушке покойная наша мама регулярно в канун субботы посыпала потрошок кошерной курицы и халу — все это я относила, понимая важность такой мицве.

Теперь от mestечка осталась соша, ставшая еще более пыльной и разбитой. Живет здесь и одна-единственная еврейская чета — старый 85-летний Шимон Сирота и его жена Роза лет 73. Как памятник mestечковой архитектуры высится одноэтажный, из красного кирпича дом зажиточного еврея Рофкера.

Остался и еще один немой свидетель прежней нашей жизни — колодец, не изменившийся за прошедшие с тех пор 50 с лишним лет: тот же короб, та же отполированная до блеска тысячами касаний медная ручка ворота, та же цепь — разве что ведро сменили. В редкие свои приезды в Сальницу я подхожу к колодцу — а он стоит в 15–20 метрах от того места, где некогда был мой родной дом, — глажу короб, ручку, набираю ведро воды и горько при этом плачу. Все стало чужим на этой улице, в этом

селе, где никто не подавал глотка воды или корочки хлеба моим родителям, приходившим холодными осенними ночами 1941 года «до сусідів», которым они, перед переселением в гетто, оставили немало всякого добра...

Тем не менее, если есть на земле народ, забывающий и прощающий, это прежде всего — евреи. Если есть народ, полагающий, что и ему прощают малейшую ошибку или вину — это евреи. Можно как угодно определять склонность евреев к забвению: наивностью, желанием принимать кажущееся за действительное, фикцию за реальность. Возможно, срабатывает подсознательная уверенность, что зло будет наказано, а справедливость восторжествует и без нашего вмешательства. С другой стороны, среди евреев, как и среди других народов, имеются личности пассионарные, энергию своей воли направляющие либо на поиск врага, либо на поиск праведника. Евреи, по общепринятым мнению не подставляющие левую щеку, когда бывают по правой, все же склонны искать праведника. Мы этому свидетели, нас это радует, ибо в любом случае положительные эмоции лучше и благотворней отрицательных.

Вернувшись, однако, к своим палестинам, к своим воспоминаниям. Однажды, было мне уже лет 12, я встретила дедушку на мосту нашей безымянной речки. Дедушка возвращался из синагоги — ди клойз — после минхи, а я шла к одной из своих подруг, уже приготовив все уроки, чтобы уточнить расписание уроков на завтра. Мы виделись с дедушкой каждый день, но встречи, столкнувшись нас так неожиданно лицом к лицу, обрадовала нас обоих. Я увидела лицо дедушки, как в увеличительное стекло, близко рассмотрела его грустные улыбающиеся глаза и маленький синячок на горбинке носа.

Дедушка ушел из жизни ранней весной 1938 года. В последний раз я увидела его уже лежавшим в полусознании, в чистой, ставшей присторной для его исхудавшего тела рубахе; красивый, умиротворенный, ангелоподобный — дедушка звал своих сыновей и старшего из своих внуков, моего старшего брата — покойного Абрашеньку. Дедушка звал: Аврумеле, Аврумеле...

Бабушка наша пережила своего мужа почти на два года. Она умерла зимой 1940 года, когда я уже жила в Киеве. Приехав домой на зимние каникулы, я узнала о кончине дорогой бабэ Алтэ, мама рассказывала, как тяжело расставалась бабушка с этой жизнью. Да будут эти обе святые для меня женщины благословенны своей добродетелью и нашими о них молитвами...

Тихая, неторопливая, в нарядных чепчиках, из-под которых видны были голубые, с перламутровым отливом полькелех — сережки под цвет ее глаз, бабушка наша родила и вырастила четырех сыновей. Старшим из них был наш дорогой — да будет благословенна его память — отец, Гершон. Самый младший сын умер молодым, не дожив нескольких месяцев до своей свадьбы. Два средних сына вскоре после революции

уехали в далекие края, изредка — и это делали их жены — сообщая о себе скучные новости.

Бабушка обладала способностями экстрасенса, что не было редкостью в хасидских семьях Волыни и Подолии. Она умела отвращать сглаз (а гитойг), «заговаривать» простуду, останавливать кровь и залечивать рану. Помню, как часто и беззвучно шевелились бабушкины губы в молитве. «Нашептывая», она произносила слова медленней и громче, на идиш, конечно. Одну из таких «присказок» для отворота болезни я запомнила. Звучала эта присказка так:

Драй вайбер зицн аф эйн штейн
 Эйне зутт «х'ю», ди андере зутт «нейн»,
 Ди дрите зутт: «фун вонен с'из гекимен
 Аин зол'с гейн»!

что в переводе выглядит так: сидят три женщины на камне, одна говорит «да», другая — «нет», а третья так сказала: откуда ты, болезнь, пришла, туда и воротись назад!

В эвакуации в Средней Азии мы с сестрой мучились страшными приступами тропической малярии. Во время одного из такихочных приступов, при температуре почти 40°, сестре приснилась покойная бабушка, что-то нашептывая и проводя руками над головой сестры. Под утро сестра проснулась буквально в луже пота, но с таким ощущением, что с этим потом ушла и болезнь.

На праздник Кущей, в суккот, к дедушке приходили с лулавом и эсрогом два одетых в лапсердаки и шляпы незнакомых мне евреев. Один из них заходил в комнату, где я еще только просыпалась, мне велели помыть руки и давали в одну руку лулав — ритуальную связку веток, в другую эсрог — большой лимон. Я должна была простереть перед собой руки, потрясая лулавом и эсрогом, произнося вслед за шамесом молитву нетилат лулав. Молитву эту я снова повторяла года 2–3 тому назад в синагоге вслед за юным учеником иешивы, я трепетно выполняла все советы моего наставника, мне было неловко, что я, пожилая женщина, не могу справиться с этой простой задачей сама. Но какое это удовольствие — видеть детей и внуков наших за молитвой в дни субботней и праздничной службы в синагоге! Видеть, как после длительной засухи и многих лет неурожая вновь чудом проросли те зерна доброй веры, что их поселяли в наше сознание, в наши души мудрые руки наших дорогих незабываемых дедушек, бабушек, отцов и матерей наших — да будут свято и вечно имена их в памяти и молитвах наших! Амен!



РИТА ОСТРОВСКАЯ —

известная киевская фотохудожница, в 1994 г. получила в Германии приз им. Альберта Ренгер-Потуша, учрежденный фондом Дитриха Оппенберга для способствования изданию авторских альбомов молодых европейских фотографов. Приз был предназначен для реализации проекта фотоальбома «Евреи в Украине (1989–1994, местечки)».

В мае 1996 г. этот альбом вышел в издательстве «Cantz» (Штутгарт) на немецком и английском языках общим тиражем 3 тысячи экземпляров. Составительница и куратор издания — руководитель фотографического отделения музея Фольксванг (Эссен) Уте Эскильдсен. Дизайн — киевской художницы Валентины Иващенко. Это, сразу же ставшее библиографической редкостью издание, заинтересовало редколлегию «Егупца», и было решено дать в № 2 альманаха несколько фотографий из него, предварив их вступительным словом автора.

«В эту книгу вошли бесконечно дорогие для меня фотографии о современной жизни евреев в небольших городах Украины, так называемых местечках (штеттах). Альбом представляет собой первую часть задуманной трилогии, в которую еще должны войти книги «Семейный альбом» и «Эмигранты».

Я занимаюсь фотографией уже 26 лет, но «Семейный альбом» стал моим первым подходом к еврейской теме, хоть родилась я в Киеве, в еврейской семье. Еврейских языков, к сожалению, не знаю.

Я давно фотографирую своих близких, но осознание темы «Семейного альбома» пришло ко мне только в 1987–1988 гг., когда большинство моих родственников собрались эмигрировать в США, Израиль, Германию. Но у меня сохранились их портреты.

Конечно же, я столкнулась с антисемитизмом — в школе, при поступлении в институт и на работу. Но заговорили о нем открыто только недавно. И недавно мы начали изучать собственную историю, поняв наконец свою принадлежность к очень древней культуре, насчитывающей более 5 тысяч лет.

Серия «Евреи в Украине» началась для меня с города Шаргород, куда я впервые приехала фотографировать в 1989 г. Живя в Киеве, я не представляла, что на Украине еще существуют так называемые «местечки», и поэтому увиденное меня глубоко потрясло... С 1991 г. я начала ездить по другим городкам, где традиционно раньше жили евреи... В настоящее время я побывала в 30 населенных пунктах. И везде все по-разному: в одних местах — только остатки еврейских кладбищ, в

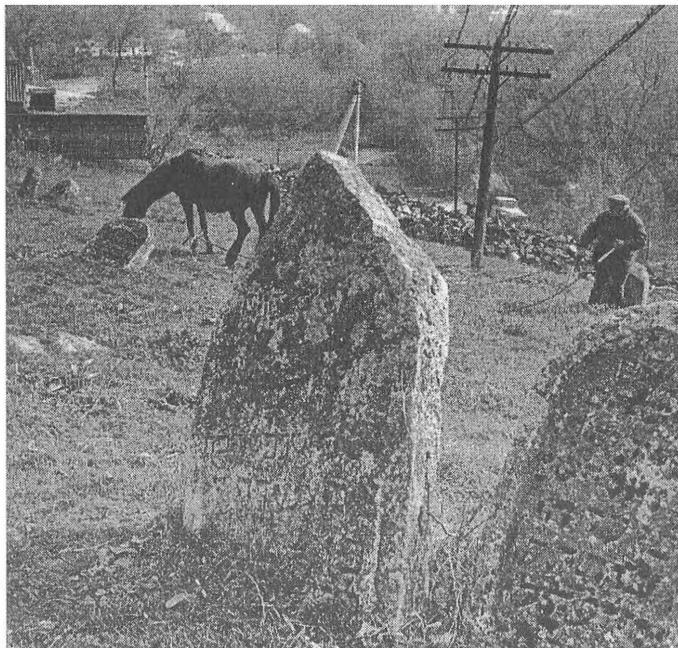
других — доживающие свой век пожилые люди, в городах побольше — возобновляется деятельность еврейских общин.

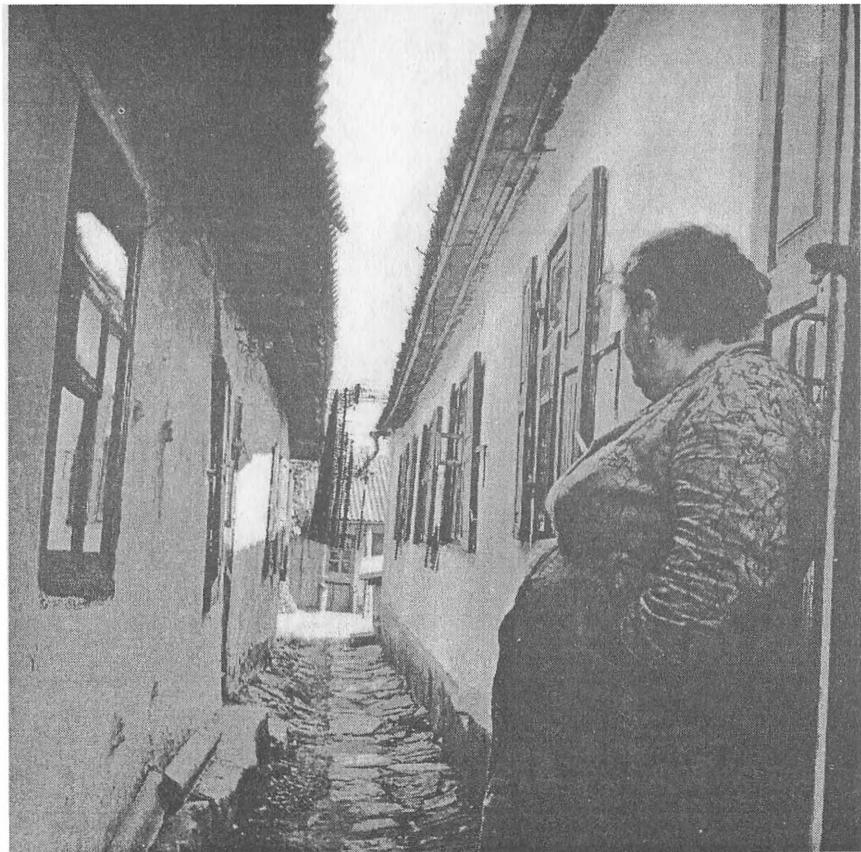
Очень много евреев эмигрировало за последние годы. Может случиться, что лет через 10 во многих местах останется только память, что тут когда-то жили евреи. Именно поэтому для меня эта съемка столь важна.

Ключевым вопросом всего проекта «Еврейский альбом» для меня является исследование образа так называемого «советского еврея». И где бы я ни была, я всегда узнаю эти такие знакомые мне лица и, глядываясь в их глаза, вижу всегдашнюю грусть...

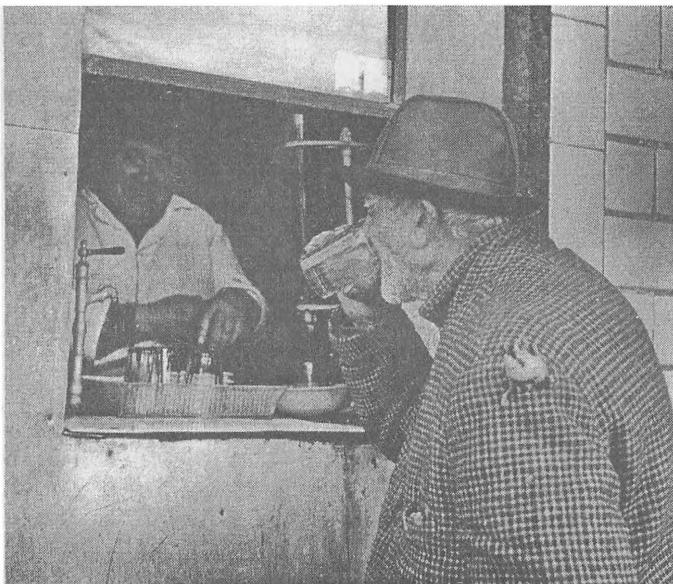
Рита Островская

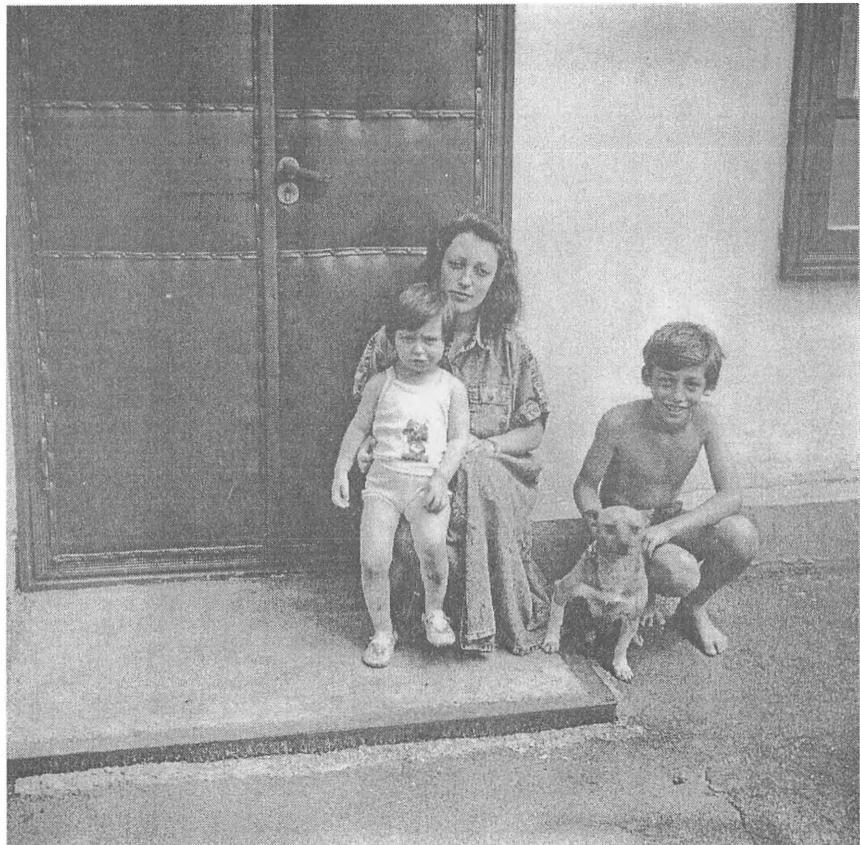


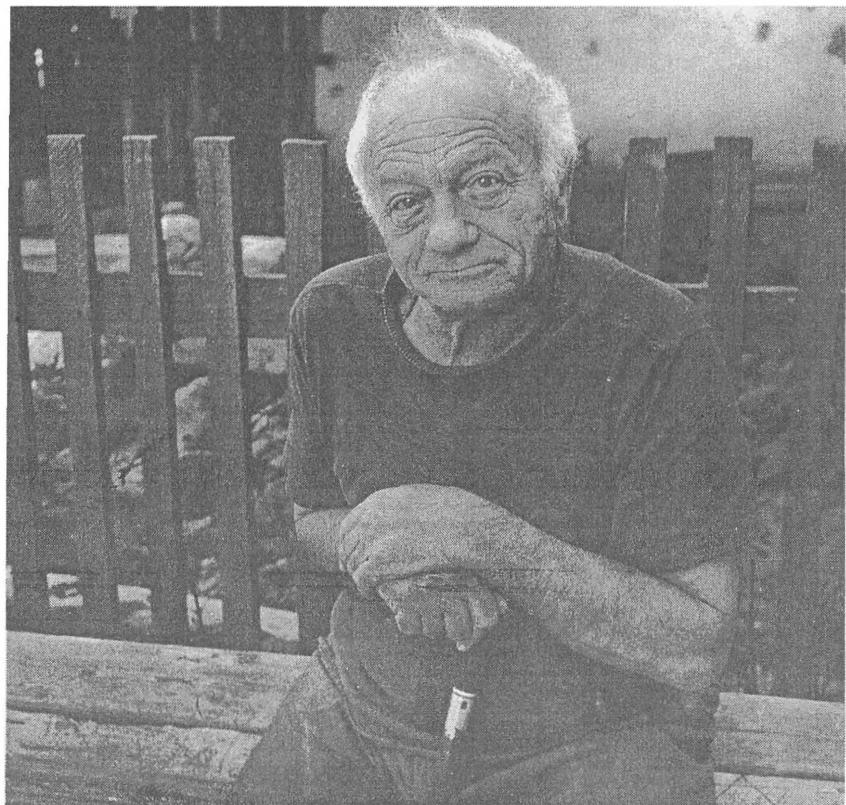


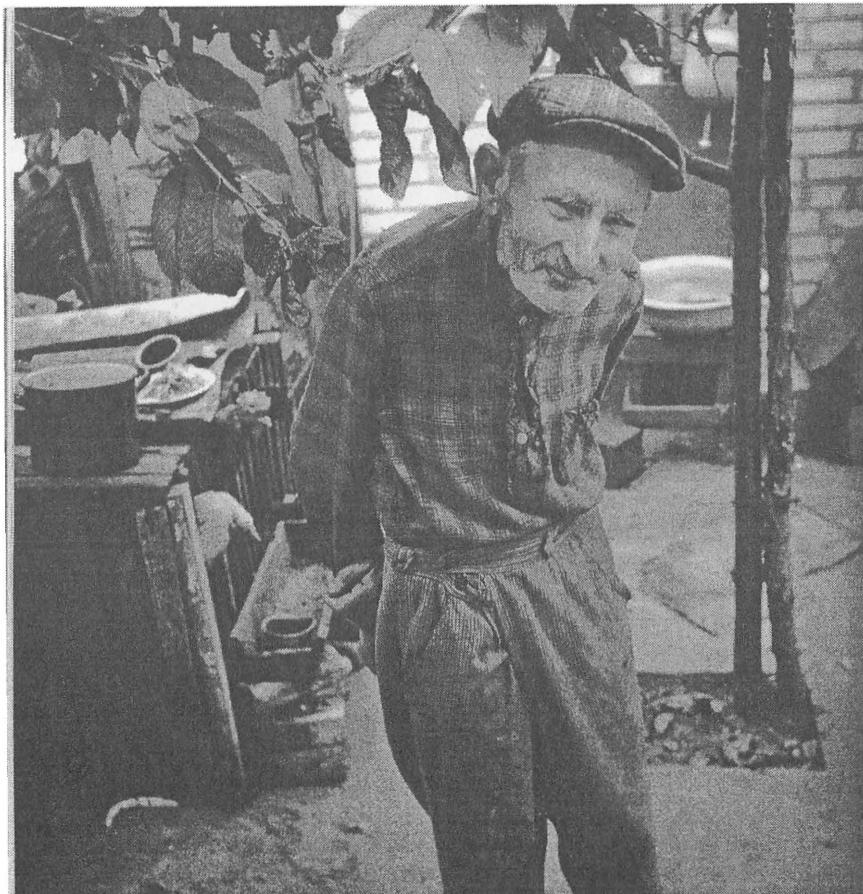


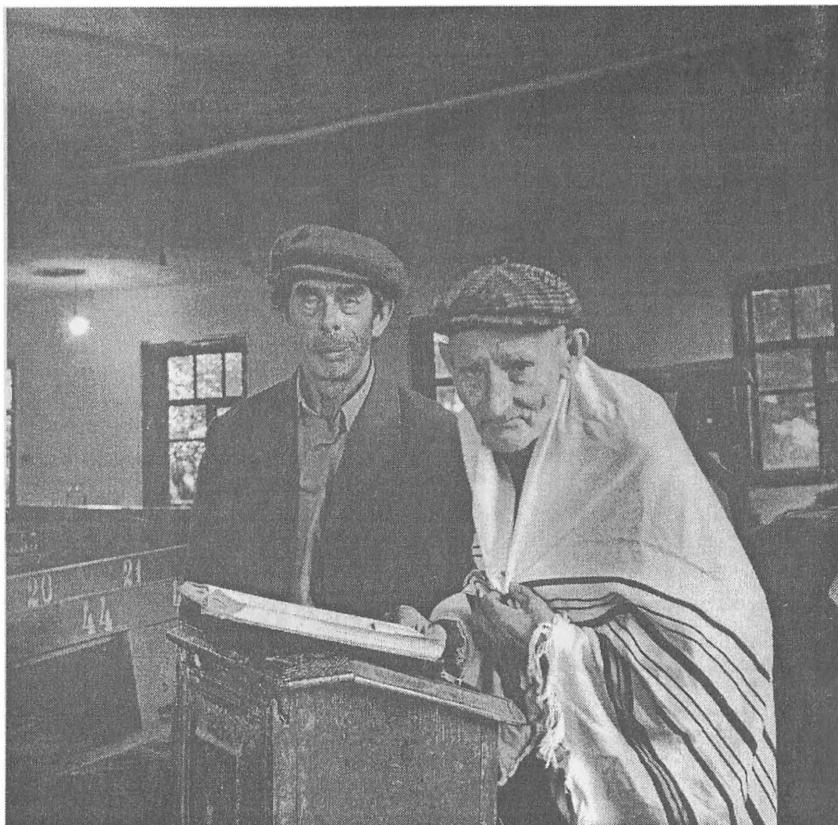




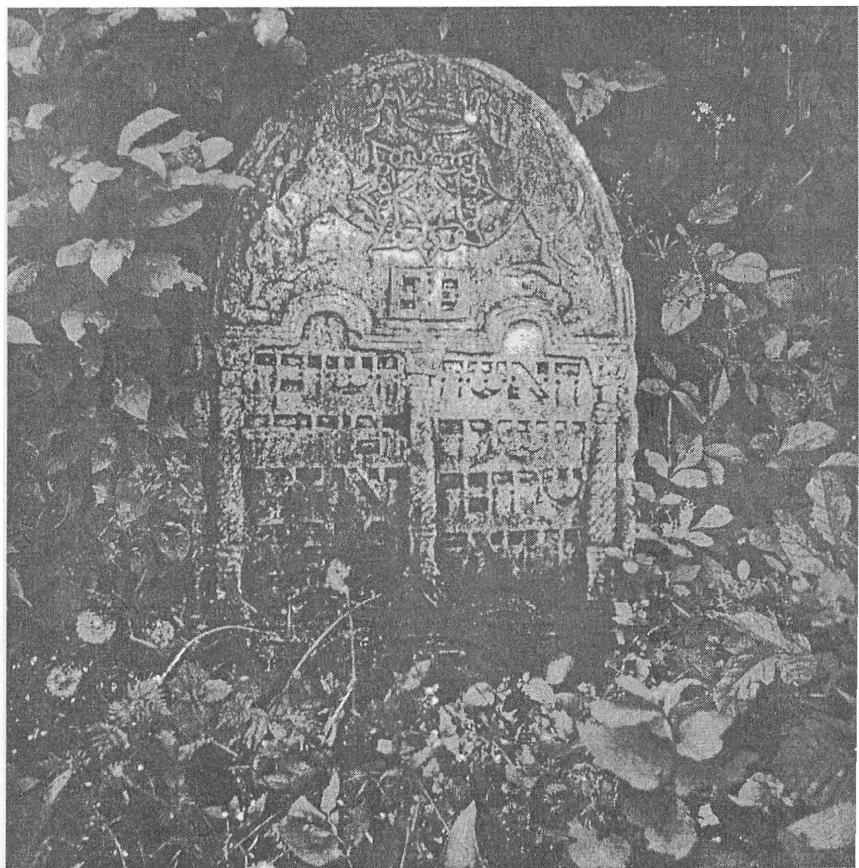


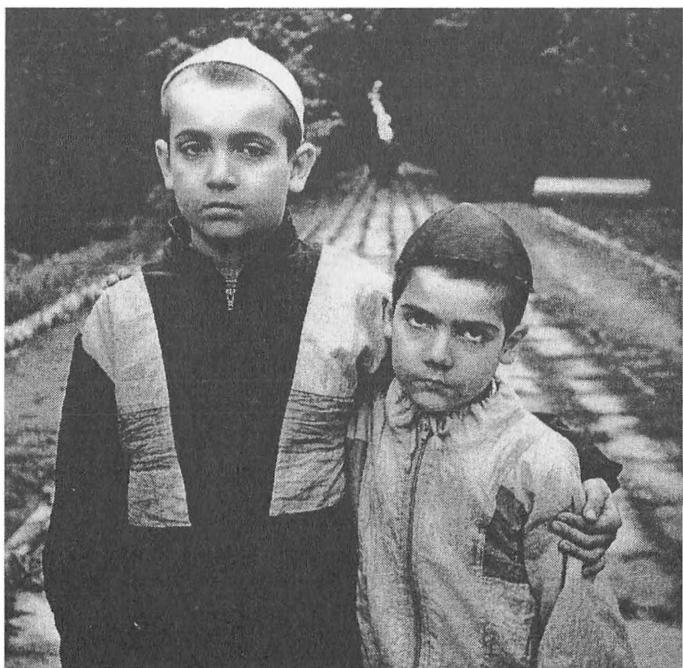












Волько Редько

Имя Волько Лейбовича Редько ничего не говорит любителям поэзии. А между тем это имя молодого поэта, весьма ярко дебютировавшего в довоенные годы. Писал он на идиши, ибо родился в многодетной семье ремесленника-жестяника в мелкоточке Ильинцы Киевской губернии, учился в еврейской школе и техникуме, на еврейском факультете Московского педагогического института. Писать и печатать стихи начал с 15 лет, но до войны успел напечатать очень немногое. Из рукописного наследия 20 стихотворений опубликованы в 1973 г. в журнале «Советши геймланд» и в сборнике стихов еврейских поэтов «Лира» (1983 г.). На русском языке публикуется впервые (переводы с идиши Риталия Заславского).

Жизнь Волько Редько оборвалась 7 августа 1941 года под Каневом во время контратаки наших войск. На фронт он ушел добровольцем. Погиб в 23 года.



О, радость! О, свет! О, жнивье!
Иду я вдоль поля — по краю.
Там детство блуждало мое,
куда приблудилось — не знаю.

Там громко мой голос звучал
среди серебристых колосьев,
вернусь я к началу начал,
ненужное напрочь отбросив.

Колосьев и шелест и шум
услышу — и снова куда-то
готов я идти наобум,
с рассвета идти до заката.

ДОЖДЬ

Шум ветра внезапно возник,
застывшую тишину будоража,
и светлого облака лик
темнел, оседая, как сажа.

Сверкнуло неведомо где,
и гром пробежался вдоль улиц,
и дождь застучал по воде,
и реки водой захлебнулись.

И жадно растягий уста
вбирали случайную влагу,
и властно влекла высота,
прижатая тучей к оврагу.



Не все приносит радость нам,
и я, быть может, по ошибке,
опять доверился и снам,
и обольстительной улыбке.

Мы повстречались у реки,
вверху луны светилась долька,
и все казалось мне с руки.
Но это мне казалось только.

Тот сон прошел, и ночь прошла,
и все, что виделось сквозь дрему,
окутала иная мгла,
и мир открылся по-другому.

Наверно, много дней подряд
я вспоминать отныне буду
твой непонятно-хмурый взгляд
и слов прощальную остыду.

РАССКАЗ БЕРНАРДА МОИСЕЕВИЧА

Эта история записана со слов Бернарда Моисеевича Глозмана, директора фильмов с Киевской студии имени Александра Довженко. Рассказана она в 1962 году, а касается времен еще более далеких, когда Бернард Моисеевич был директором фильма «Тарас Шевченко».

Не стоит останавливаться на всех этапах работы над самим фильмом: она была длительной и весьма мучительной для постановщиков. Все были до предела издерганы бесконечными придирками, поправками, переделками, которыми буквально терроризировали их идеологические надсмотрщики. Впрочем, этих тоже можно было понять: фигура Шевченко при всей ее хрестоматийности и причисленности к лицу создавала ряд опасностей, смертельных опасностей — можно было бы добавить, ибо дело происходило в годы, отмеченные таким идеологическим давлением, сразу переходившим в административное, какого, пожалуй, не знало даже повидавшее кое-что поколение Бернарда Моисеевича.

Особенно тяжкий пресс существовал в кино, ибо при мизерном количестве выпускаемых тогда фильмов и учитывая любовь к этому роду искусства лучшего друга советских кинематографистов, миновать его всевидящего ока было невозможно. С прицелом на показ фильма самому Сталину и велась вся работа.

Когда лента, наконец, дрожащими руками украинских идеологов была благословлена на показ в Москве, ее повезла туда небольшая делегация, в которую от киногруппы входили исполнитель роли Тараса — Сергей Бондарчук и директор фильма — Бернард Глозман, а также, естественно, редакторское и идеологическое сопровождение. Режиссер фильма Игорь Савченко к этому времени уже умер от глубокого нервного истощения.

По приезде в Москву группа «до специального вызова» разместилась в гостинице, где и пребывала в мучительном безделье весьма долго. Отлучиться было невозможно, ибо вызов мог последовать в любую секунду дня и ночи. По той же причине исключалась и выпивка для снятия страшного напряжения. Граница между днем и ночью стиралась, время превращалось в физически ощущаемые сумерки.

Наконец вызов последовал. Киевлян отвезли в Кремль и после многочисленных проверок водворили в кремлевский кинозал. Он был совершенно пуст, если не считать, конечно, группы товарищей в штатском, профессией которых являлась бдительность.

Сев в кресла, члены съемочной группы опять погрузились в напряженное ожидание, и ждать пришлось долго. Сидели молча, не решаясь даже обратиться друг к другу. Да и о чем было разговаривать?

Члены политбюро начали появляться по одному и довольно неожиданно для сидящих в зале, так как выходили они как бы из стен, то есть из незамеченных ранее кинематографистами дверей. Причем каждый член политбюро появлялся из «своей» двери.

При появлении каждого члена правительства киевляне дружно вставали и застывали по стойке смирно, но те, не здороваясь, проходили на свои места. Собственно, может быть, они и кивали головой, но так незначительно, что заметить этого никому не удалось. И уж во всяком случае они не смотрели на кинематографистов, как будто тех и не было вовсе в зале.

Когда все правительство собралось и расселось, зал опять погрузился в длительное молчаливое ожидание.

Сталин появился тоже внезапно и остановился у двери. На этот раз вскочили все присутствовавшие в зале. Сорвались аплодисменты и быстро угасли, ибо Сталин поднял руку в останавливающем жесте и пошел к своему креслу. Оно было вращающимся и находилось перед всеми рядами, так что вождь мог в любое время повернуться в зал и оценить, как зрители реагируют на происходящее на экране. Во время просмотра фильма он предпринимал этот маневр несколько раз.

«Посмотрим, что привезли хохлы», — сказал Сталин, садясь в кресло. По залу прошел некий вздох, выражавший и восторг шуткой вождя, и нетерпение увидеть новое произведение хохлов, и готовность дать ему достойный отпор, если возникнет такая необходимость.

Просмотр прошел в молчании. Но, когда зажегся свет, и Сталин окончательно повернулся к залу, все киевляне почувствовали, что сейчас произойдет именно то, чего они боялись. Напряжение было огромным.

— Ну что, как оценим работу хохлов? — спросил Сталин и сделал паузу, как бы давая возможность присутствующим высказаться. Молчание стало еще глубже. — Я думаю... — начал вождь, не дождавшись никакого ответа, и опять сделал паузу. — Я думаю, что надо оценить... (здесь возникла еще одна пауза)... положительно.

Радостный гул членов правительства встретил это слово. Он состоял из различных восклицаний, среди которых были: «Да, да, конечно, безусловно, естественно и т.д.» Бернард Моисеевич не мог утверждать, что звучали именно эти слова, да и вообще не мог сказать, какие слова звучали. Он помнил лишь, что гул был радостным, даже ликующим.

— Но! — провозгласил Сталин и резко поднял указательный палец правой руки. Одобрительный гул не стих, а исчез, как будто гудевшим сразу заткнули рты. — В фильме есть два недостатка, которые мы должны отметить, — после очередной паузы продолжил Сталин. — Кто хочет высказаться?

Странные вещи происходили с тишиной в этом зале. Сказать, что она после вопроса Сталина стала глубокой, значит, ничего не сказать. Она была живой, как бы говорящей, уверяющей, что все хотят высказаться и все в состоянии это сделать, но почтительно ждут указания или прямой директивы. Кроме того, тишину наполняло восхищение мудростью вождя, его прозорливостью и безошибочной точностью оценок.

Но, когда возникающая пауза совершенно непомерно затянулась, что можно было бы объяснить уже не почтительностью, а нежеланием или

неспособностью участвовать в обсуждении, слова попросил Суслов. От отметил сцену в редакции «Современника», где Шевченко встречается с Чернышевским и Добролюбовым. Теоретик партии подчеркнул, что здесь имеет место некое нарушение национальной субординации, ибо Шевченко олицетворяет «младшего брата», а держится так, словно он на равных, а может быть, в чем-то и выше Чернышевского и Добролюбова, олицетворяющих «старшего брата».

Сталин подтвердил, что именно это и есть одна из двух наличествующих в фильме ошибок.

После удачного ответа Суслова опять воцарилось молчание, и опять было оно живым, выражавшим напряженное внимание и восхищение мудростью вождя, а также совершенную невозможность указать на вторую ошибку и тем самым дерзновенно посягнуть на прозорливость, доступную только гениальному учителю.

Очевидно, Сталин и сам хорошо понимал это, потому что, выдержав приличную паузу, никого не стал вызывать или назначать. Он был уверен: назвать вторую ошибку не дерзнет никто. Да он и сам бы расценил это как безусловное посягательство. Поэтому вождь сам обратил внимание присутствующих на сцену выезда царской фамилии из Зимнего дворца. Это был роскошный эпизод, стоявший, по словам Бернарда Моисеевича, огромных денег, ибо для снятия его пришлось декорировать чуть ли не весь Невский. По замыслу режиссера, грандиозность выезда символизировала мощь самодержавия и подчеркивала мужество поэта, бросающего вызов этой всеподавляющей силе.

Сталин ничего не говорил о символах, хотя, очевидно, на него сцена произвела именно то впечатление, на которое и расчитывал режиссер. Вождь лишь сказал, что этот эпизод надо убрать и объяснил это с поистине сталинской логикой: «Рано еще показывать нашему народу такое великолепие».

Фраза, как и многие сталинские высказывания, нарочито многозначительная. В ней и признание некоторых достоинств проклятого прошлого (умение организовать и продемонстрировать великолепие); и горькая констатация того факта, что наш бедный народ еще не дорос до понимания некоторых вещей; и, наконец, оптимизм, позволяющий верить, что когда-нибудь, возможно, скоро, наступят времена, когда народ удостоится быть свидетелем великолепных сцен и действий. Был в фразе и еще один, более глубокий смысл — некое легчайшее сожаление, что такое великолепие невозможно у нас, где все устраивается по законам пролетарской скромности, столь свойственной самому великому вождю и учителю.

На этом, пожалуй, можно окончить рассказ о кремлевском просмотре фильма «Тарас Шевченко», хотя Бернард Моисеевич рассказывал еще нечто, но это уже относилось не столько к Сталину и даже не столько к фильму, сколько к попыткам снять с себя страшное напряжение тех мучительных дней.

Записал Гелий Аронов

Александр Жовтис

Александр Лазаревич Жовтис уже более 50 лет живет и работает в Казахстане, куда война и эвакуация еще мальчиком занесла его с Винничини. В Алма-Ате он окончив университет, стал специалистом по восточным языкам (прежде всего — корейскому), литературоведом, переводчиком, доктором филологических наук, профессором. Его переводы классической поэзии Востока широко известны среди знатоков.

Но кроме переводов, Александр Лазаревич пишет и оригинальные произведения. Почти все они посвящены далекой Украине, которую он помнит и любит всю свою сознательную жизнь.

КОНОКРАД

I

И надо же было случиться, чтобы расправу над Иваном Джигуном, первым на селе буяном и конокрадом, мужики учинили у самого порога Наумовой хаты!

Для Эстерки, жены Наума, день этот начался с большой неприятности. Спеша в школу, Давидка задел стоявшую на завалинке пятилитровую бутыль с вишневкой, бутыль соскользнула на землю и разбилась. Во весь голос закричав «Опаздываю!!», сынок убежал раньше, чем она осознала, что вишневой наливки на зиму у них уже не будет.

Стоя над разбитой бутылью, Эстерка соображала, нельзя ли спасти хоть часть вишен, собрав их и пересыпав сахаром, когда во двор заскочил расхристанный Джигун, которого тут же ударом могучего кулака сбил с ног Сенько Тыртышный. К нему присоединились Савич с Постоловским, и они втроем, молча, стали избивать упавшего ногами.

Не успев прийти в себя, Эстерка смотрела, как озверевшие односельчане лупят сапогами по спине конокрада.

Джигун только раз взывал от боли — и затих, а Постоловский, оглядевшись вокруг, схватил уцелевшее горлышко бутыли и уже занес руку над лежащим на земле человеком, но тут Эстерка отчаянно вцепилась в него и закричала:

— Бандиты! Иолопы! Не убивайте! Не убивайте!

Постоловский резко отшвырнул от себя стекло, и Тыртышный с Савичем вроде бы поостыли. Каждый пнул еще по разу неподвижное тело Джигуна. Потом, по-прежнему молча, они ушли со двора. Так же быстро, как ворвались сюда...

Эстерка вылила на Джигуна ведро воды. Он очнулся и медленно встал на ноги. Кровавая пена выступала у него на губах. Глаза остановились.

* Джигун (укр.) — волокита, ловелас.

вились на Эстерке. В них была такая ярость и ненависть, что она, все еще держа ведро в руке, сделала шаг назад.

Пошатываясь, едва переставляя ноги, он прошел в глубину сада и исчез где-то на задах Наумовой усадьбы.

...Спустя год началась коллективизация. Наум Шехтман, внук николаевского солдата, несмотря на свое иудейство, и при царе имел право на владение землей. Единственный еврей в украинском селе Вороновицы, он считался крепким хозяином, и не миновать бы ему беды, если бы не ощущил нутром приближение «года великого перелома» и не убрался вовремя в город.

К началу войны Шехтману было за шестьдесят, и он торговал скобяным товаром на Новом базаре. Эвакуироваться они с Эстеркой не успели, а может быть, и не захотели. Пани Кристина, соседка по коммунальной квартире, вспоминала потом, что Эстерка сказала ей перед самым приходом немцев: «Они были у нас в восемнадцатом. Мы с Наумом только поженились и даже жили один раз в Одессе в гостинице, так немецкий офицер отдавал нам честь... Они очень вежливые, пани Кристина...»

Но теперь было совсем не так, как в благословенные времена кайзера Вильгельма! В сентябре 41-го фашисты провели в городе «акцию»: часть еврейского населения (кого смогли собрать) вывезли в соседний лес и расстреляли. На Первомайской, на которой жили Шехтманы, в тот раз облаву не проводили, а на следующий день жизнь в городе вошла в свою колею. У немцев был образцовый порядок: погромы они организовывали только по графику, да еще аккуратно лишали жизни за малейшее нарушение установленного «кордунга», уже не считаясь с национальностью нарушителя.

Пережив долгие часы страха и беспросветного отчаяния, Наум решил искать спасения в родном селе. Рано утром, сразу после окончания комендантского часа, два пожилых человека с крестьянскими корзинами, перекинутыми на рушниках через плечо, вышли из города. Они шли по многократно исхоженному большаку, необычно для этого времени года пустынному. Лишь несколько женщин, тоже с корзинами, попались им навстречу. С встречаными они, как было принято здесь, здоровались, но вороновицких среди них не было. Два немецких солдата в черной эзсовской форме, на мотоциклах обогнали их на полпути.

Двигались Наум с Эстеркой тяжело, медленно, часто отдыхали, каждый раз отходя подальше от дороги. Пройти надо было всего пятнадцать километров, но старый сосняк, за которым лежало родное село, показался впереди лишь в третьем часу дня.

У сосняка Шехтманов нагнал старик с удочками. Он поздоровался и долго вглядывался в их лица — то ли они показались ему знакомыми, то ли он распознал в них евреев и не мог понять, откуда они здесь

взялись. Стариk ничего не спросил и вскоре исчез из виду, а Наум вдруг сказал жене:

— Пойду в село. Ты будешь ждать меня здесь...

И поставил свою корзину рядом с ней. Она села на полусгнивший пень, возле которого пестрели свеженькие осенние опята, и стала ждать.

Ждала долго... И думала, куда пошел Наум, с кем сейчас разговаривает, о чем и как. Потому что за последние двое суток они перебрали всех друзей и недругов в этом селе, людей добрых и злых, умных и глупых, тех, к кому можно пойти, и тех, кто, может быть, не предаст, но и в дом наверняка не пустит. Получалось, что врагов у них вроде и не было, но и близких друзей не оставалось, разве что Явдоха Савич, чудом уцелевшая в коллективизацию (сам глава семьи умер еще в двадцать шестом). Явдохе Шехтманы всегда помогали, а малый Олекса, когда учился на рабфаке, так и жил у них, пока общежития не дали. Надежда была и на Петра Яценко, если его в армию не забрали, и на семью Хоменко, сын которых был закадычным другом их Давидки — вместе в мединститут собирались, а потом в военное училище ушли. И жили теперь Хоменки в старой Наумовой хате.

Наум рассудил, что поскольку паспортов у деревенских не было при Советах, они смогут затеряться среди односельчан. Но для этого надо было, чтобы односельчане, прекрасно знавшие Шехтманов, все от мала до велика приняли их. И молчали.

... Сколько времени прошло, Эстерка не знала. Ей казалось, что уже стало смеркаться, когда Наум появился перед ней. Вернулся он не по дороге, а вышел из леса. И несмотря на наступившие сумерки, она разглядела, что он бледен и смотрит куда-то в сторону. Подойдя почти вплотную, он сказал: «Спасіння нема...» И добавил тихо по-еврейски: «Нас убьют...»

Эстерка хотела что-то спросить, но он продолжал:

— Утром двух жи́дов заберет патруль или полицай, потому что непорядок, что мы здесь. И убьют за нарушение режима. А кто жи́дов пустит переночевать, тех тоже... всех... А Сашка Постоловского расстреляли за нарушение, никто не знает точно, за что...

— А Явдоха? Явдоха??

— Плакала... Внучат моих пожалей, Наум, говорит... Хлеба бери, сала... И еще царскую пятерку. Золотой, всю жизнь берегла на черный день... Понимаешь, золотой давала... Я не взял... Только уходи, говорит...

Больше Эстерка ни о чем не спрашивала — ни про Хоменко, ни про Житкевичей...

Наум сел рядом с ней на колоду. Потом сказал: «Сапоги надо снять — ноги задубели...» И стал снимать сапоги.

В эту минуту за спиной затрещали сухие ветки и залаяла собака.

— Назад, Сирко! — раздался женский голос.

К ним подходила молодая женщина, простоволосая, с длинной жердью в руке. Огромный кудлатый пес бежал впереди.

Она остановилась возле них и сказала:

— Кажется, Шехтманы... Вы почему здесь?

— Шехтманы... — сказал Наум. Он сидел в одном сапоге и не узнавал эту женщину.

— Что вы тут делаете? — повторила она вопрос, словно сама раздумывая над ним.

Наум сказал: «Что делаем?.. Сидим, смерти ждем...»

Незнакомка постояла еще с минуту, потом отбросила жердь и, не обращая внимания на Эстерку, которая сидела, стиснув голову руками, молча и без движения, и на Наума, не успевшего снять второй сапог, крикнула собаке: «Пошли, Сирко!» И исчезла в темноте.

Было очень тихо. Потом что-то зашуршало — стал накрапывать дождик. Быстро темнело...

II

...В середине марта 1944-го года часть, в которой служил младший лейтенант Давид Шехтман, перебросили на переформирование в его родной город, незадолго до того оставленный почти без боя отступавшими по всему фронту немецкими войсками.

В том, что родителей в живых нет, сомнений не было: старые люди не могли ни в партизаны уйти, ни перейти линию фронта, ни перебраться, как это некоторым удавалось, на территорию, занятую румынами... И все же сразу после прибытия в город он бросился туда, где до войны жили его родители и откуда в 40-м его забрали в армию.

Он быстро шел через город, через мост — его взорвать не успели, прошел по главной улице, но чем ближе подходил к родному дому, тем медленней становились его шаги. Останавливалась мысль, что идет он туда только для того, чтобы выслушать пани Кристину, которая станет плача и причитая рассказывать ему, как отца с матерью уводили полицией и что было с ними дальше... Такие рассказы он слышал в каждом городе, в каждом mestечке, откуда отступали фашисты, и представлял себе все так ясно, как будто сам был свидетелем происходившего...

Он прошел мимо чистенького домика, в котором когда-то жила Ниночка Чайкина. Ставни были закрыты, дом казался пустым. «И их смело...» — подумал он, даже не сделав попытки войти во двор или разузнать о бывших хозяевах у соседей.

На улицах кое-где лежал еще грязный мокрый снег — весна запаздывала. Прохожих было мало и все они куда-то спешили.

Наконец он вышел на свою Первомайскую. Старый трехэтажный дом мирно стоял на пригорке. На нелепом, без перил, знакомом с детских лет крыльце сидела укутанный в черный платок какая-то женщина. Но это была не пани Кристина.

Женщина подняла голову и вдруг отчаянно закричала:

— Давидка!!

Он остановился, словно не узнавая мать, и тоже закричал:

— А батя? Батя?!

— Давидка... Давидка... — повторяла она, не отвечая ему и не вставая со стула. И только когда он изо всех сил схватил ее за плечи и, глядя в лицо, повторил еще раз:

— С батей что?

Эстерка сказала:

— Ушел на почту...

— И вы здесь, у себя в доме... Как же?

— Он привез нас вчера... С кордона. Помнишь, лесной кордон за Десенкой? Федоренковский хутор?

— Так это старик Федоренко... — он не мог найти подходящее слово и только повторил: Федоренко!

— Федоренко умер давно. Там уже восемь лет лесником Гуменюк...

— Степан?

— Нет, нет... Это не те Гуменюки, что с Марьиновки. Их родичи, у сестры его Анели хата была за сосняком, на отшибе. Там Марийка, дочка ее, и нашла нас...

— Значит, Джигун? Конокрад этот?!

— Что ты говоришь? Ах, да... Не конокрад, Давидка, не конокрад... Она долго не могла найти слова, а потом выдохнула:

— Праведник! Праведник он!

Яков Хелемский

Это стихотворение поступило в «Егупец» в качестве отклика на выход первого номера нашего альманаха.

Редколлегия считает этот факт доказательством активного включения «Егупца» в литературный процесс.

Риталию Заславскому

В книгах Шолом-Алейхема действует город Егупец.
Это Киеву классиком дан озорной псевдоним.

Ни к чему обижаться на шутку, сурохо наступясь.
Ибо самоиронией автор надежно храним.

Все постиг он в пределах «соседлой черты», где спасенье —
В меткой хохме, улыбчивой байке и в кличке смешной,
Где гасили отчаянье звуками фрейлахс под зыбкою сенью,
Высотой ремесла да еще кисло-сладкой стряпней.

Местечковая мудрость не знала ни лести, ни грубости.
Летописец печали был этим устоям под стать.

Ведь не зря его предки от Египта дошли до Егупца,
Юмор свято храня, где бы им ни пришлось обитать.

ЗМІСТ

Бенцион Томер

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ,
ПОСВЯЩЕННОМ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МАКСИМА РЫЛЬСКОГО

6

СТИХИ ИЗРАИЛЬСКИХ ПОЭТІСС

8

Гелій Аронов

СЧАСТЛИВЧИК

16

Дора Хайкина

ВІРШ

53

Ріва Балясная

СТИХИ

55

Мирослав Маринович

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ
«ЗА ВІЛЬНУ УКРАЇНУ»

57

Семен Журахович

ОПОВІДАННЯ БЕЗ НАЗВИ

60

Восемь писем Шолом-Алейхема

В.Вайсблату

69

Художник Михаил Туровский

77

Вениамин Блаженных

СТИХИ

82

Шимон Маркиш

РУССКО-ЄВРЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА —
ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? ДЛЯ ЧЕГО? ДЛЯ КОГО?

85

Наши публикации	
Исаак Бабель	
ОДЕССА	
92	
БИТЬЕ	
95	
«ЭВАКУИРОВАННЫЕ»	
96	
ЗАВЕДЕНИЦЕ	
97	
СЛЕПЫЕ	
99	
ВЕЧЕР	
102	
ЕЕ ДЕНЬ	
104	
Художник Матвій Вайсберг	
105	
Михайло Литвинець	
СОНЕТИ	
117	
К 100-летию Исаака Кипнича	
120	
Марк Соколянский	
ОСТАЛСЯ В ОДЕССЕ	
128	
Иона Грубер	
СТИХИ	
146	
Анатолий Нимченко	
ВУС ЭРЦЕХ?	
147	
Рина Левинзон	
СТИХИ	
153	

Александр Вознесенский	
МАРУСЯ ВОРОНОВА	
157	
Семен Юшкевич	
164	
Людмила Титова	
У МЕНОРЫ	
173	
Михаил Хейфец	
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ	
«ПОЛЕ ВІДЧАЮ, ПОЛЕ НАДІЇ»	
174	
Фаина Браверман-Горбач	
«СКАЖИ МНЕ, ВЕТКА ПАЛЕСТИНЫ...»	
177	
Рита Островская	
183	
Волько Редько	
СТИХИ	
197	
РАССКАЗ БЕРНАРДА МОИСЕЕВИЧА	
199	
Александр Жовтис	
КОНОКРАД	
202	
Яков Хелемский	
«В КНИГАХ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА...»	
207	

CONTENTS

Bentsion TomerSPEECH ON THE SOLEMN MEETING, DEVOTED TO
100-th ANNIVERSARY OF THE BIRTHDAY MAXIM RILSKIY**6**

THE VERSES OF ISRAELI POETESSES

8**Geliy Aronov**

LUCKY ONE

16**Dora Xaikina**

VERSES

53**Riva Balyasniya**

VERSES

55**Miroslav Marinovich**OPEN LETTER TO THE EDITORIAL STAFF
«ZA VILNU UKRAINU» («FOR FREE UKRAINE»)**57****Semen Jurakhovich**

STORIES WITHOUT TITLES

60

Eight letters of Sholom Aleykhem to V.Vaysblatt

67**Artist Mikhail Turovskiy****77****Veniamin Blazhennikh**

VERSES

82**Shimon Markish**RUSSIAN-JEWISH CULTURE. WHY? FOR WHAT? FOR WHOM?
85**Our Publications****Isaak Babel**

ODESSA

85

THE BEATEN	
	88
THE EVACUATED	
	89
THE LITTLE ESTABLISHMENT	
	91
THE BLIND MAN	
	92
THE EVENING	
	95
HER DAY	
	97
Artist Matviy Vaisberg	
	105
Mikhailo Litwinets	
SONNETS	
	117
Towards the 100-th anniversary of Isaak Cipnis	
	120
Mark Sokolyanskiy	
REMAINED IN ODESSA	
	128
Iona Gruber	
VERSES	
	146
Anatoliy Nimchenko	
WUS ERTSEKH?	
	147
Rina Levinson	
VERSES	
	153
Alexander Voznesenskiy	
MARUSIA VORONOVA	
	157
SEMEN YUSHKEVITCH	
	164

Lyudmila Titova	
NEAR THE MENORAH	
173	
Michael Kheyfits	
THE SPEECH ON THE PRESENTATION OF THE BOOK	
«THE FIELD OF DESPAIR, THE FIELD OF HOPE»	
174	
Faina Braverman-Gorbach	
«TELL ME, THE BRANCH OF PALESTINE»	
177	
Rita Ostrovskaya	
183	
Volkko Reddko	
VERSES	
197	
A STORY BY BERNARD MOICEEVITCH	
199	
Alexander Jovtis	
THE HORSE THIEF	
202	
Yakov Khelemskiy	
«IN THE BOOKS OF SHOLOM ALEYKHEM...»	
207	

Інститут Іудаїки

Інститут Іудаїки створено з метою організації робіт та координації зусиль вчених у галузі вивчення єврейської історії та культури в Україні.

Основні форми роботи Інституту:

- виконання дослідницьких проектів;
- організація та проведення конференцій, семінарів, лекцій;
- видавнича діяльність.

Дослідницькі проекти

Історико-архівні програми

- Опис єврейських фондів та документів в архівах України;
- формування фотоархіву «Єврейський світ» (фотографії кінця ХІХ – початку ХХ століття);
- вивчення історії алії (проект Агмона, Тель-Авівський університет);
- архівний пошук документів про людей, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Соціологічні та політологічні програми

- Проект «Долі євреїв України у ХХ столітті» — запис усної історії, узагальнення типових доль, закономірностей історії;
- соціологічні дослідження тенденцій в єврейському середовищі, ставлення українського суспільства до євреїв та єврейських проблем;
- моніторинг проблем міжнаціональних взаємин та дотримання прав людини за матеріалами української преси;
- моніторинг ксенофобських, антисемітських акцій, публікацій, виступів. Узагальнення тенденцій антисемітизму. Розробка програм сприяння толерантності та багатокультурності для українського суспільства.

Конференції, семінари, лекторії

З 1993 року Інститут Іудаїки:

- щорічно організовує та проводить Міжнародну наукову конференцію «Єврейська історія та культура в Україні»;
- виступає в ролі одного з організаторів Міжнародного семінару «Єврейська цивілізація та єврейська духовність».
- створив та підтримує Всеукраїнський лекторій з єврейської історії та культури.

Видавнича діяльність

- Підготовка та видання щорічного літературно-публіцистичного альманаху «Єгупець»;
- підготовка до видання популярної енциклопедії «Українські євреї» у 3-х томах;
- підготовка та видання книг «Бібліотека Іудаїки» (Б.Зінгер «Раб», Ш.Маркиш «Бабель та інші»);
- підготовка та видання матеріалів щорічної Міжнародної наукової конференції «Єврейська історія та культура в Україні»;
- видання матеріалів Єрусалимської конференції 1993 року «Українсько-єврейські відношення» (журнал «Філософська і соціологічна думка», №№ 1-2 і 5-6, 1994 р.)
- підготовка та редактування книги «Jews and Slavs», v.5, Jerusalem 1996, Редактори В.Москович, Л.Фінберг та інші.

- переклад з англійської мови та видання книги С.Роса «Легальні засоби боротьби проти антисемітизму».

Інститут юдаїки, створений у 1996 році, продовжує діяльність Науково-дослідного центру — Асоціація юдаїки, співпрацює з Міжнародним Соломоновим університетом, Університетом «Києво-Могилянська академія», академічними інститутами України (Інститутом філософії, Інститутом соціології, Інститутом політології та міжнаціональних відношень), Київським центром політичних досліджень та конфліктології, Центром «Демократичні ініціативи», університетами та дослідницькими центрами Єрусалиму, Тель-Авіву, Лондону, Парижу, Женеві, Нью-Йорку.

Інститут є громадською організацією. Спонсорами наших програм є Асоціація єврейських общин та організацій України, Американський єврейський розподільчий комітет «Джойнт», Міністерство у справах національностей України, Американський єврейський комітет, інші громадські організації та міжнародні фонди.

При Інституті створена Доглядова рада, до якої входять вчені, громадські діячі та підприємці України.

Інститут відкритий до співробітництва з усіма зацікавленими особами та організаціями.

- Україна, 252049, Київ, вул. Курська, 6
- т. (38044) 211-94-76,
- факс. (38044) 213-48-93
- E-mail: judaic@finberg.carrier.kiev.ua

Institute of Judaic Studies

The Institute of Judaic studies was created to organize and coordinate the research efforts of scholars in the area of Jewish history and culture in Ukraine.

The main tasks of the Institute include: the carrying out of research projects; the organization and conducting of conferences, seminars and lectures; publishing activities.

Research projects

Historical-archival programs:

- description of Jewish documents and other materials preserved in the archives of Ukraine;
- formation of the photo-archive «Jewish world» (photographs from the end of the 9-th to the beginning of the 20-th century);
- the study of the history of «aliyah» (project Agmon, Tel-Aviv University);
- archival search for documents about people who saved Jews during the 2-nd World War.

Sociological and politic science programs:

- project «The fate of the Jews of Ukraine in the 20-th century» — recording of oral history, general descriptions of the Jewish experience, historical research;
- sociological research on tendencies in Jewish society and on attitudes towards Jews and Jewish problems in Ukrainian society;
- monitoring of the materials of the Ukrainian Press for violations of human and nationality (national minority) rights;

- monitoring of xenophobia, anti-Semitic acts, publications, speeches. General tendencies of anti-Semitism. Working program on tolerance and multiculturalism for Ukrainian society.

Conferences, seminars, lectures

- Since 1993, the Institute of Judaic studies annually organizes and conducts: the International scientific conference «Jewish history and culture in Ukraine»;
- acts as one of the organizers of the international seminar «Jewish civilization and Jewish thought»;
- established and maintains a Ukrainian-wide network of lectures on Jewish history and culture.

Publishing activities

- preparation and publication of annual literary-sociopolitical almanac «Egupets»;
- preparation towards publication of the popular encyclopedia «Ukrainian Jewry» in volumes;
- preparation and publication of the book series «Library of Judaic» (B.Zinger «Slave», Sh.Markish «Babel and others»);
- preparation and publication of materials of the annual International scientific conference «Jewish history and culture in Ukraine»;
- publication of materials of the Jerusalem conference «Ukrainian-Jewish relations» (Journal of philosophical and sociological thought, №№ 1-2 and 5-6, 1994)
- preparation and editing of the book «Jews and Slaves» v.5, Jerusalem, 1996, editors V.Moscovitch, L.Finberg and others.
- translation from English and publication of the book by S.Rosa «Legal remedies in the fight against anti-Semitism».

The Institute of Judaic studies was created in 1996 and continues the work of the scientific research center — Association of Judaica.

The Institute collaborates with the International Solomon University, Kiyiv Mogilan Academy, academic institutes of Ukraine (Institute of philosophy, Institute of sociology, Institute of political science and relations between nationalities), the Kiyiv center of political research and conflict, the center of «Democratic initiatives», universities and research centers in Jerusalem, Tel-Aviv, London, Paris, Geneva and New York.

The Institute functions as a public organization.

Sponsors of our programs include the Association of Jewish Communities and Organizations of Ukraine, the American Jewish Joint Distribution Committee, the Ministry of Affairs of Nationalities of Ukraine, the American Jewish Committee, and other public organizations and international foundations.

A Board of Trustees was established under the auspices of the Institute. Members of the Board of Trustees include scholars, practitioners, and entrepreneurs of Ukraine.

The Institute is open to cooperation with all interested individuals and organizations.

- Kurskaya str., 6, 252049, Kiyiv, Ukraine
Phone: (38044) 211-94-76
Fax: (38044) 213-48-93
E-mail: judaic@finberg.carrier.kiev.ua



The
Ehupets
almanac is edited by
the Institute of Judaic
studies (Kiev) and aims to publish
fiction and journalism depicting
different sides of Jewish life — in the past,
present and future. The second issue assembled
well-known as well as less known authors, but
all of their literary works — including stories,
essays, novels, poetry, articles — will
undoubtedly be of interest not only to Jewish
readers but to all worshippers of literature.